



КСЕНИЯ
БУКША

ОТКРЫВАЕТСЯ
ВНУТРЬ

РАССКАЗЫ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ



РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА
ШУБИНОЙ

МОСКВА

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Б90

Художественное оформление *Виктории Лебедевой*

На переплете и авантитуле – рисунок *Ксении Букши*.

Роман печатается с сохранением авторской орфографии
и пунктуации.

Книга публикуется по соглашению
с литературным агентством ELKOST Intl.

Букша, Ксения Сергеевна.

Б90 Открывается внутрь : [рассказы] / Ксения Букша. – Москва : Издательство АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2018. – 283, [5] с. – (Роман поколения).

ISBN 978-5-17-108263-5

Ксения Букша – писатель, копирайтер, переводчик, журналист. Автор биографии Казимира Малевича, романов «Завод “Свобода”» (премия «Национальный бестселлер») и «Рамка».

«Пока Рита плавает, я рисую наброски: родителей, тренеров, мальчишек и девчонок. Детей рисовать труднее всего, потому что они все время вертятся. Постоянно получается так, что у меня на бумаге четыре ноги и три руки. Но если подумать, это ведь правда: когда мы сидим, у нас ног две, а когда бежим – двенадцать. Когда я рисую, никто меня не замечает».

Ксения Букша тоже рисует человека одним штрихом, одной точной фразой. В этой книге живут не персонажи и не герои, а именно люди. Странные, заброшенные, усталые, счастливые, несчастные, но всегда настоящие. Автор не придумывает их, скорее – дает им слово. Зарисовки складываются в единую историю, ситуации – в общую судьбу, и чужие оказываются (а иногда и становятся) близкими.

УДК 821.161.1-31

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-108263-5

© Букша К.С.

© ООО «Издательство АСТ»

Содержание

Детдом

1. Сосновая поляна. Ася	9
2. Авангардная. Варя и Вера	28
3. Братаны	50
4. Кампоты Гуха	60
5. Чаша	80
6. Женя	92

Дурдом

7. Чувачки	111
8. Ключ внутри	118
9. Автоковский путепровод. Права	142
10. Стас	159
11. Автопортрет	174
12. Шарлатан	187

Конечная

13. Я – Максим	213
14. Красный тазик	226
15. Проспект Стачек. Надя	237
16. Регина и смерть	246
17. Бабушка	260
18. Конечная	272

Детдом

1. Сосновая поляна. Ася

За железнодорожной станцией Сосновая поляна начинается слабенькое осеннее утро. Едва виднеются в нем палки и ветки палисадников и дворов. Маршрутка номер триста шесть, жестяная белая коробка с фарами и без всякой рекламы, стоит заглушив двигатель — ждет пассажиров с электрички. Самый край Петербурга. Тут начинаются дома. Окна еле теплятся. Ветра почти нет, воздух теплый, темный и желтый. У будки до сих пор цветут, подсыхая и подгнивая, дудочки нежно-сиреневых цветов над инеем травы в темноте. Вокруг спокойствие.

Водитель маршрутки почти не хочет спать. Он курит, стоя в обвисших штанах и плотных резиновых тапках, и задумчиво смотрит за переезд. Там, за переездом, пестреют дачки, сараюшки, баньки, сады и кусты, тропки, канавы и мостики, низкорослые рябины, малинники, железные сетки, за

боры. Тянет печным дымом. Желто-красные пестрые листья темнеют в лужах.

Очень спокойно вокруг.

Вот подходит к переезду с той стороны семейство: мамаша и трое детишек. Мамаша совсем молодая, с пушистыми волосами и в беретике, в легком пальто. Детишек трое. Старшая похожа на маму. Тоже худенькое личико, курносый нос, только волосы другие, черные. Средний и младший — пацаны. Среднему лет восемь, хулиган, как видно. Младший в комбинезончике с паровозами.

Ветра совсем нет.

Идут взявшись за руки, цепочкой. Мама, средний, младший и старшая.

Водитель влезает на сиденье, открывает двери. В маршрутке у него целое хозяйство. Пятихатки он засовывает за козырек, который против солнца. Сотни — в сумку на поясе. Мелочь — в прорези на засаленной мочалке по правую руку.

Триста шестая разворачивается на площади перед станцией. Огни кругом. Десятиэтажки с другой стороны. Яркие даже в темноте, обрызганные ночным дождем березы. Триста шестая покачивается.

* * *

Каждый раз, выпив с мамой по бокалу красного, Ася ей задает один и тот же вопрос:

Детдом

— Ну, мам, кто мой папа?

Мама каждый раз говорит разное. Асю прямо смех разбирает, как она каждый раз начинает выкручиваться. Сводит глаза к переносице и говорит что-нибудь высокоумное, предположительное такое. Каждый раз — какое-нибудь новое откровение.

— Твой отец — Сергей Иванович! — например.

— Мам, ты в прошлый раз говорила, что дядя Петя.

— Ну разве ты похожа на дядю Петю?!

Или что-нибудь совсем сентенциозное:

— Скажи спасибо, что я не сдала тебя в детдом. Знаешь, как трудно было одной с ребенком в те годы? Да, я не сидела с тобой, мне приходилось работать с утра до ночи, чтобы тебя обеспечить. Но с тобой были мои родители!

А раньше неизменно добавляла под конец:

— Конечно, тебе-то хорошо! У тебя детей не будет, живи себе спокойно как хочешь!

* * *

Про детей, которых не будет, Ася узнала еще в те незапамятные времена, когда на первом курсе безумно влюбилась в своего институтского профессора Константина Константиновича (Лакан

да Фуко), которому тогда было почти пятьдесят, и переехала к нему. Они жили очень счастливо месяца три. Однажды Константин Константинович за утренним чаем доброжелательно спросил Асю:

— Асеночек, ты что, уже беременна?

— Почему беременна? — удивилась Ася.

— Месячных все нет и нет, — Константин Константинович хоть и был доктор философских наук, но имел свои наблюдения над жизнью.

— Так у меня они еще не начались, — объяснила Ася. — Пока еще ни разу не было.

— Как? — удивился тот. — Тебе семнадцать, и ни разу?

Ася кивнула.

Константин Константинович немного смутился. Поразмыслив, он предложил Асе все-таки проверить, беременна она или нет. Так как логика, — добавил он, — говорит нам, что если чего-то ни разу не было, то это еще не значит, что чего-то другого быть не может.

* * *

Пожилая гинеколог в парике уложила Асю на простынку, достала нечто вроде железного рупо-

Детдом

ра, аккуратно вставила в Асю, включила фонарик и стала молча глядеть. Ася сильно волновалась, но виду не показывала. В детстве и ранней юности Ася была робким, смиренным и терпеливым существом, которое можно было даже умертвить, а она бы только лежала и, может, даже не хныкнула. Потом все изменилось, но тогда, в тот день, Ася лежала себе как кролик, которого фаршируют, а гинеколог, пожилая армянка, ощупывала ее изнутри пальцами в резиновых перчатках.

Наконец врач закончила осмотр и сняла перчатки.

* * *

О бездетности Ася почти не переживала. Тем более что у Константина Константиновича на детей уже была аллергия. Все предыдущие жены, а было их семь, рожали ему ребенка, а то и парочку. Так как профессор считал себя ответственным отцом, то приходилось помнить все эти дни рождения, звонить и барственно поздравлять:

— Ну что, как там девчонка-то моя? Растет? А! Какая большая барышня! А как там ваше пианино, виноват, шахматы? Что? Балет? А, да, точно, балет: как успехи?

Понятно, что при таком раскладе Константин Константинович был очень рад, что Ася не заставит его запоминать новые дни рождения.

Они еще какое-то время прожили вместе, потом драматически расстались, Ася совершенно не переживала, потом еще пару-тройку раз побывала замужем, и эти мужья тоже исчезли в дымке, не потому, что у них не было детей, а по разным другим причинам. Кто-то из них и сам был дитя.

И Ася опять не переживала.

Не слишком волновал ее и вопрос, который она традиционно задавала маме, когда приезжала к ней в гости:

— Мам, а мам! А кто мой папка-то, а?

Асе скорее было забавно со стороны наблюдать, как мать выкручивается, складывает губы гузкой, смотрит долго в один угол, потом в другой, потом на потолок, ну чисто она Гертруда, а с потолка должна счас явиться тень Клавдия. Ася с антропологическим, а может, мифологическим любопытством наблюдала за тем, как в голове матери складывается вранье.

— Твой папа? — наконец изрекала мама, сделавши на лице сложные щи. — Так и быть, скажу. Это знаешь кто? Это Семеркин. Ну да, Боря Семеркин, помнишь такого? — И дальше мама выдавала речитатив: — У него жена еще дефектолог без правой ручки родилась работает в доме ребенка еще такая помнишь высокая веселая на дне рождения у Павла Ильича когда ты стихи вслух прочитала она еще...

Семеркин. Ася не помнила почти никого из тех, кого называла мама. В детстве взрослые казались ей лесом, деревьями в лесу, а их голоса — гулом ветра в кронах, смутным и грозным. Ася почти не поднимала на них головы. Она была маленькая, они — большие. Матери Ася тоже почти не видела, жила с бабушкой и дедом в маленьком домишке в дачном массиве Сосновой поляны. Дед за день слова не скажет. Бабушка только ругала. Ася была гадким утенком, да и кто с ней дружил-то? одни собаченьки. Самое раннее воспоминание: Ася сидит на корточках на люках, вокруг снег, а на люках тепло, и вокруг восемь собаченок свернулись клубками, тоже теплые, греют Асю. Одевали ее дед и бабушка в обноски. В детском саду была одета хуже всех, даже по тем временам, просто в какое-то тряпье. Ни одного красивого платья, ни разу. Ася всегда мерзла. Рейтузы в дырах. Ноги мокрые.

Но ничего, Ася не в обиде; и все-таки кто папаша-то? Почему-то Асе хотелось бы знать. Почему-то ей кажется, что здесь скрыто нечто важное.

* * *

Ну а про детей Ася и вовсе совершенно не переживала и продолжала не переживать, когда вдруг однажды так получилось, что директор конторы, в которой она работала, видимо, особо сильно нагрешил и взялся помогать сироткам. Конечно, он довольно скоро это дело бросил, а вот Ася начала задумываться.

Странное это было место — детдом. И с помощью сироткам выходило странно. Дети улыбаются, благодарят тебя, стараются понравиться. Но стоит хотя бы чуточку, хоть немного взглядеться, и становится понятно, что здесь как будто пустыня, где каждого грызет жестокий голод и жажда, а воды никто не приносит.

Ася быстро поняла, что на самом деле им нужно только одно: семья. А значит, помочь по-настоящему можно только одним-единственным способом. Почему бы и нет?

* * *

Вообще-то Ася искала маленького мальчика. Лучше всего новорожденного, но можно и лет трех. Так советовали все: если нет детей, нет опыта, то лучше брать малыша. Ну а мальчика — потому что девочек разбирают лучше. Ася мечтала о маленьком таджике или цыганенке. Но так выходило, что все мальчики были с тяжкими диагнозами, на грани выживания. Ася плакала и вешала трубку.

Однажды Ася забрела на сайт регионального оператора и, так как детей там было немного, стала смотреть все анкеты подряд. Аня, 2008. *Подвижная, контактная, принимает участие в жизни коллектива.* Виталий, 2007. *Любознательный, очень любит плести из бисера. Когда вырастет, хочет работать в полиции.* Ксюша, 2006. *Ребенок понимает обращенную речь.* Маша, 2004. *Подросток хочет в семью! От-*

ветственная, любознательная, Маша станет вам настоящей помощницей. Людвиг, 2010. *Неконтактный, истеричный.* Нинель, 2008 (запрокинутое лицо с раскрытым ртом, в уголках рта зеленка). *Нинель — маленькое чудо. Эмоционально отзывчивая, добрая, Ниночка дает знать, чего она хочет, и умеет обо всем рассказать без слов. Пока Нинель не кушает самостоятельно.* Никита, 2001. *Никита активный, жизнерадостный, энергичный, независимый, исполнительный. Легко идет на контакт. В обществе любит чувствовать себя легко, раскованно. Активно интересуется всем, что привлекает.* Андрей, 2005. *Мальчик спокойный, тихий, скромный. Когда вырастет, хочет стать строителем.* Дарья, 2006 (маленькая девочка в нарядном детдомовском платье с угрюмым, застывшим выражением лица, выглядит не на девять лет, а максимум на шесть). *Контактная, тихая, еще только начинает вливаться в коллектив. До сих пор горюет по умершей матери.*

Ася уже умела читать эти характеристики из базы. Они как слоганы. В них нет правды, а только маркетинг, позиционирование. Кого-то воспитатели придерживают — и дают нелестные характеристики. Иных, с неудобным и трудным поведением, стремятся сбить с рук — и приукрашивают как могут, а потом — возвраты. Не пишут о трудностях из sentimentalных побуждений — а там, глядишь, стерпится, слюбится. Чаще всего к характеристике относятся формально, да и что в трех фразах напишешь? Но даже не это главное, а то, что в детдоме ребенок не такой, как в семье, это другое аг-

регатное состояние. Каким он будет на самом деле, ты не поймешь не только по характеристике да фото, но и по видео, и при личной встрече не сразу.

И все же... *Контактная, тихая, еще только начинает вливаться в коллектив.* Недавно в детдоме, еще не адаптировалась там, не усвоила тамошние привычки, не научилась выживать в вывернутой наизнанку среде. Домашний ребенок в трудной ситуации. Пусть из маргинальной семьи, но домашний, а не инопланетянин. *До сих пор горюет по умершей матери.* Невероятная редкость и чудо. Значит, у ребенка был значимый взрослый. Значит, ребенок пока продолжает жить в человеческой системе координат, где у маленького всегда бывает свой большой, без которого он не выживет. И — *горюет.* Живые эмоции, пока не убитые системой. *По умершей матери.* Этот ребенок не был брошен, как большинство детей в детдомах. Простое человеческое горе; ненависти к миру нет. Пока нет. Надо спешить, подумала Ася, удивляясь сама себе.

* * *

Ася предполагала, что мамаша будет истерить, но не предполагала, что так сильно. Она вопила в трубке «Вырастет и прирежет нас всех!» так, как будто ее уже режут. Асе приходилось держать мобильник на дистанции от уха, чтобы не оглохнуть. «Зачем подбирать, что другие бросили?! Лучше бы своих родила!» Хотя мама отлично знала, что

своих Ася родить не может. И, кстати, Дашу никто не бросал. Наоборот, ее не хотели отдавать, и Асе неожиданно для себя пришлось побороться.

— В нашем детском доме, — заявила директор жеманно, — в семью хотят далеко не все. Особенно наша элита, наши лучшие девочки — Дашенька, Анжелочка, Кристинка. Ведь у нас так хорошо! Дарья у нас гостит всего полгода, по ней было много звонков, но она отказывается от всех предложений.

«Понятно», — подумала Ася, произвела небольшое расследование и на первом же свидании сообщила Даше, что от ее дома до того, где она жила раньше и где живут ее кошка и собака, идет прямая маршрутка. Даша согласилась сразу, и, хотя потом много раз просилась «обратно в детдом», дело было сделано.

Причина Дашкиной разборчивости стала ясна Асе не сразу, а только месяца через три, когда мама подружки с танцев поделилась, заливаясь нервным смехом:

— Даша у вас такие странные вещи выдумывает. Как будто она не ваша родная дочка, а вы ее взяли из детского дома, чтобы на органы продать, а потом пожалели и оставили себе.

Детский дом, в котором оказалась Даша, был невелик. Грозило расформирование. Устройство детей в семьи могло оставить персонал без работы. Младших «элитных девочек» пугали страшилкой

про органы. Старших подсаживали на мечты о «самых богатых родителях».

* * *

Спустя три месяца, как Дашу взяла, вдруг позвонила опека:

— А у вас заключение на маленького мальчика, да? А вы все еще хотите маленького мальчика?

Ася, конечно, хотела.

— Тут в соседнем округе пацан мелкий, мать умерла. Или в приют, или... а вы бы взяли?

Ася схватила документы и помчалась. Приехала, а тут и выяснилось, что малюток-то двое, и старшему уже восемь. На форумах это называют «паровозиком». Сидят вместе на диване, старший младшего схватил и злобно зыркает на всех: у нас другие планы.

— Слушай, — присела на корточки, — ты серьезный мужик, вот что хочу сказать. Вас разделить собираются. Мелкого в дом ребенка, а тебя — в детдом. Хочешь с братом остаться? Тогда без вариантов — ко мне.

* * *

Асина мать живет теперь в крошечной развалюхе, там, в Сосновой поляне, где и Ася выросла с дет-

ства, а квартиру сдает. На эти деньги покупает одежду, косметику; фланирует по Невскому, висит на сайтах знакомств. Выглядит абсолютно окей. Подтянутая засушенная дама в блузе. На краю дачного массива стоит ее ржавый конь.

Но в домик зайдешь — жутковато. Там и раньше-то было не ахти. А четверть века прошло, без никакого ремонта. Две крохотные комнатки, кухонька, курятник, обросший пометом. Куры, коза, кошки и собаки. Теснота, жуткий бардак, горы нелепых предметов, грязь и дым. На окне громоздятся пустые банки.

— А все-таки, мам, — Ася говорит, подливая маме сладкого красного (мать почти не пьет, курит только много), — ну кто папаша мой, а? Колись!

Ася и дети бывают здесь в гостях раз в две-три недели. Дашка любит животных, как придут — бежит козу кормить. Пацаны — те на дорогу норовят, там лужи, можно погонять сдутый старый мяч. Уделяются, конечно.

Мать морщится.

— Ладно, так и быть, скажу, — и отводит глаза, и Ася понимает: сейчас опять соврет.

И на этот раз ей уже и не забавно, а скорее досадно. В чем, черт дери, смысл врать? В чем сама идея этого вранья? Пусть даже мать изнасиловали, пусть это был примитивный партеногенез, непорочное зачатие... Почему не сказать-то?

Ладно, — Ася меняет тактику. — Ты мои фотки можешь показать младенческие?

А, ну это всегда. Это пожалуйста. Мать мгновенно перестает стрелять глазами по сторонам и приоткрывает пыльный бархатный альбом. Все чинчином. Асенька сидит, толстая, вся в складочках. С погрехом. В белых ботинках. Вроде и раньше Ася эту фотку видела, но сегодня до нее вдруг доходит одна небольшая значимая деталь.

— Сколько мне тут, мам?

— Шесть месяцев.

— А совсем мелкой покажи фотки? Вдруг я там на папу похожа?

— А у нас нет твоих фоток до шести месяцев, — и мать вдруг снова стреляет глазами по сторонам, да как резво. — Ты же знаешь, у нас сложное время тогда было! Моя сестра самоубийством... И вообще... Нет твоих фоток, ни одной. Эта первая.

Серенький дрыхнет уже на диване, укрытый пыльным одеялом. Дашка и Рома во дворе сажают друг на друга котят.

* * *

Утром, переночевав у мамы в домишке, Ася — на работу, детей сразу в садик и в школу. Домой заез-

Детдом

жать не будут. Идут по грязной дороге, и так спокойно кругом, так темно. Пацаны идут себе, даже Серенький не рыпается, хотя еще весной все падал в лужи, снимал с себя сапоги и реготал как ненормальный.

Ромка идет смурной, как был, так и остается: взгляд в амбразуру, рюкзак на спине, ладно. Полно таких, пол-Питера: заводчане, таксисты, грузчики. Пусть будет. Нормас.

Дашуня чапает по обочине, поодаль от всех, неровной своей походочкой, нарядная и грустная, в кедах со звездочками. Дашуня размером с Рому, хотя на два года его старше. Ася просит взять Серого за другую руку. Даша берет.

«Скажи спасибо, что в детдом тебя не сдала» — тут дело не в переживаниях Асиных по этому поводу, тут дело в другом. Не в чувствах дело, а в фактах. Хочется разобраться, как доктор Хаус. Почему «скажи спасибо», и откуда идея про детдом? Откуда вообще такой ход мысли?

— Почитайте-ка книжку Серому, пока не поехали. Рома, доставай книжку.

Нас... тупила... тупила весна.

Саша надел желтые носочки.

Жел-тые, как... Как кро... кор... Мама Ася, че это за слово? Ко-рокусы?

Крокусы. Цветы такие.

Или как... лю...лютики.

А Ма-ша во...во-об-ще не ста-ла на-де-вать нос-ки.
Мы пойдем очень далеко, сказал Саша.

Водитель включает зажигание. Триста шестая
встряхивается, дребезжит, вибрирует.

Давай... кто... быстрее до-бежит до и... До и...ВЫ?
Это как так?

Ива. Дерево такое.

Предложил Саша... Ой, Даша, это твоя очередь
еще! Видишь, с маленькой буквы.

Нечестно.

Не ссорьтесь.

До ивы, предложил Саша и помочался вперед.

Чего-чего вперед?

Помолчал вперед.

Помчался.

...Да, так вот: между прочим, ведь у мамы была се-
стра, которая покончила с собой. А почему она
так — никто не знает.

...Сестра, которая покончила с собой. Асина тетя
то есть. Она покончила с собой как раз почти сра-
зу после Асиного рождения. Через полгода, если
точнее. И почему-то у мамы нет ни одной фото-
графии Аси до шести месяцев. Это странно: обыч-
но младенцев то и дело фоткают, даже в те време-
на. У деда был фотоаппарат, и снимать он любил.
Но Асиных фоток до полугода не существует
в природе.

Детдом

Серенький уже весь извертелся у нее на коленках, а Даша и Рома давно перестали читать. Серый обмяк. Укачивает бедолагу. Да Асю и саму укачивает.

...Нет ни одной фотографии; она покончила с собой; скажи спасибо, что не сдала в детдом; дождь брызгает на стекло, Даша смотрит на Асю, и брови ползут вверх: я?! На мам Асю?! Похожа?! Да, детка, ты, на «мам Асю», а я похожа ли на свою маму? Не очень...

...Когда мне было шесть месяцев. А после шести месяцев я...

...Скажи спасибо, что не сдала в детдом...

...На самом деле мама — это та, которая...

...Которая, когда мне было шесть месяцев...

Тогда все складывается. Тогда понятно, почему все. Почему мама меня отдала бабке с дедом. И ее слова про детдом. И про папашу почему врет — тоже понятно. Не знает она, кто папаша. Если она сама не мама, то откуда папу-то возьмет?

И теперь Ася знает правильный вопрос. Она знает, что спросит в следующий раз, когда нальет маме красного сладкого. Нет-нет, она не спросит «кто моя мама» — уже лишнее. И не спросит «кто мой папа» — этот вопрос очевидно остается в таком же тумане, как вот, к примеру, церковь за болотом, мимо которой мы стремительно проезжаем. И переживать тут нечего, тем более что теперь Ася знает правильный вопрос:

– *Мам, а мам, а как меня звали на самом деле?*

* * *

Триста шестая въезжает на Автоковский путепровод: внизу — рельсы, контейнеры, песчаные конусы, пестрые листья, тропинки, а наверху — тучи, в просветах — блеклое голубое небо и полосы белесых облаков.

Внезапно, глядя на мелькающие мимо автобазы, склады и электростанции, Ромка вспоминает, что в кармане у него осталось две мятные жвачки. Но если он вынет жову сейчас, то придется делиться с Дашкой. Если же он не поделится, то она затаит обиду. И зачем ему эта сестра, да еще старшая? Насколько было бы лучше, если бы их взяли только двоих, с Серым. Разве непонятно, что главный тут — он?

Так вот, значит, Ромке хочется жвачку, но он решает потерпеть, только чтобы с Дашкой не делиться; и он не знает, что Даша в это же самое время перебирает в кармане три утащенные у бабушки конфеты «Клубничные» и тоже предвкушает, — а между тем маршрутка въезжает на Зенитчиков, на каждом светофоре ненадолго останавливается, — вон общага, где они жили, и Ромка видит, как наравне с маршруткой какой-то мальчик бодро чешет по вытоптанной мокрой тропинке, мелькая за кустами. У мальчика такие же куртка и рюкзак, как были у Ромки, когда они жили еще с мамой,

Детдом

и Ромке очень хочется, чтобы это он сам и был и *тогда*, но на самом деле это другой мальчик, какой-то таджик вроде, черненький, — ой, да это не «какой-то» таджик, вдруг понимает Ромка, это же Давлат, бывший сосед их, а вот куртка и рюкзак — они не «такие же», они те самые, его и есть, только совсем уже драные и грязные, дальше просто некуда. И как только он это понимает, как рука сама тянется в карман за жовой, а там уж — че делать.

— Дашка, жову будешь?

— Спасибо, — говорит Дашка, — у меня конфетка есть. Кстати, хочешь?

2. Авангардная. Варя и Вера

В чистом поле, в белом поле было все белым-бело.
Потому что это поле

да, погода очень снежная
не выйти не то что с коляской, но и в слинге
спит как? спит плохо
ну так-то я ничего не вижу на первый взгляд, но
если была потеря сознания
то без вариантов надо везти и все проверить
когда она упала?
в семнадцать сорок

Очень холодно, одновременно очень жарко. Младенец сосет. Бросает в жар и клонит в сон, одновременно озноб, потому что форточка открыта. Пахнет молоком и снегом. Клонит в сумерки. За окнами — синий заснеженный двор-колодец, темный день.

Это у вас микроволновка? — говорит врачиха, обходя стол на цыпочках и садясь.

Да! — Вера спохватывается и вытаскивает оттуда мясо.

И как, удобно? — врачаха пишет из свидетельства о рождении. — Высота примерно какая была?

Примерно вот такая. Я даже не ожидала от нее. Я не знала, что они в месяц уже переворачиваются.

Вот видите, вы не знали, — а сама пишет.

И стоял в том белом поле белоснежно-белый дом.

Вера до сих пор в ночнушке и халате, так с утра и не переоделась, не причесалась и не умылась. У Веры нет тела, есть только огонь и молоко.

Все, я написала, — говорит врачаха. — Ну что, поехали? Собирайтесь.

да, может, не надо, — слабо протестует Вера.

всё же в порядке

врачаха становится на пуанты и поднимает бровки домиком

если была потеря сознания...

вот одна мамаша тоже, — говорит она далеким ледяным голосом

Вера бросает слушать ее, и ужасик не доносится до ее неосвященного мозга

до ее полузатопленного мозга

до ее занесенного снегом мозга

так сегодня и не успела поесть мяса-то

да и каши-то

так, чего-то похлебала — типа чаю чо-ли

Да я не знаю, — говорит Вера, — была ли потеря сознания-то
может, она просто так спала
или просто упала, но не кричала

Вера вспоминает еще раз тот момент сегодня
там на крыше, среди труб и снега, в белом небе,
прыгали двое с ломиками
огромными сапожищами вышибали снег из кровли
соседнего дома
по очереди: один — второй, один — второй
задорно, как на качелях
грох! — бух! — грох! — бух! — и над ними взвивался
снежный буран
это было красиво, ярко, это было как театр
лиц не было видно, но Вера мысленно стала
с ними там

что была бы наша жизнь, думает Вера,
если бы мы не могли быть где-то не сейчас, не
здесь.
На Авангардную поедем, — трясет ее врачиха за
плечо. — Эй! Ты слышишь меня? А?

потолок был белый-белый

* * *

звезды фонарей и звезды снежинок едут навстречу
или как будто в школьной столовой, сейчас будет
пить компот, а в компоте отражается и лампа (желтая,
как кусок сливочного масла), и лицо

Приехали.

Жестяная дверь с грохотом отъезжает.

Побыстрее, миленькая. Скорее вылезай, у нас еще вызов.

Вон туда, обогнешь здание — приемный покой.

ага-спасибо, — бормочет Вера

вдруг очень холодно

особенно выше левого сапога — задралась рейтузы

шапка сбилась на сторону с младенческого ореха

Вера останавливается и роняет свидетельство о рождении

ламинированный скользкий документ планирует в пушистый снег острым краем

Вера нагибается вместе с младенцем

теперь холодно повыше юбки — задралась куртка

езде блестят, горят полосы голого тела Веры

младенец сбился на сторону внутри комбинезона: лицо где-то в капюшоне, а шейка голая

скользко! Вера поднимается по ступенькам со свидетельством в одной руке и младенцем в другой

двери большие, старые, стеклянные, истертые, исцарапанные

внутри — бетонные чертоги, зеркала и картинки по стенам, шарканье, воняет хлоркой

длинная очередь шумит и гомонит

сесть некуда, и Вера становится у стены в чем была щурится от света, стоя в растоптанных сапогах посреди коридора

...да. Так вот, нам опять не повезло! — кричит бодрая женщина в трубку.

Рядом бледный молодой человек с провалами щек и синими скулами, на руках — крошечный младенец

еще рядом — два круглоголовых быстрых бритых бандита лет пяти, у каждого — черная от синяка половина лба, синяки странной формы, как море, только чернее

чуть поодаль — толстый казахский подросток на коляске, с ногой, упакованной в желтый надувной сапог

прямо перед Верой — вешалка, на которую навалили гору дубленок, курток, комбинезонов за вешалкой — окно, забранное двумя решетками, снаружи и изнутри, на окне — растения слева от окна — стойка регистратора

Вере кажется, что она на балу (без пяти двенадцать)

единственное — все мешает, все сбилось на сторону

на морозе зацветали голые места

а теперь — жарко, течет

одно она точно знает: раздеть младенца

вынимает лялю и вешает комбинезон на крюк мизинца

аврех! — фамилия из щели кабинета, и они входят

Детдом

* * *

монитор гудит. Вера видит на нем идеально круг-
лый, ровный череп дочери
не вижу ничего, ничего не вижу, — повторяет врач
монотонно

щелкая мышкой
ни-че-го не вижу, — приближает еще и еще, ли-
ния становится пиксельной, но нигде не преры-
вается

нет ни трещин никаких, ничего, — говорит врач

свидетельство о рождении, полис, — подает голос
медсестра

зачем?

оформлять вас будем

куда оформлять

на отделение

ваша карточка уже там

так зачем, если нету ничего

так, девушка, я сейчас беру телефон и вызываю по-
лицию.

вызов был на потерю сознания

я обязана вас госпитализировать

или я звоню в полицию и в опеку

пыльные провода на стене

сосок во рту младенца

струйки пота и свидетельство о рождении, мок-
рое, полис, паспорт

направление на анализы

медсестра идет быстро, а с Веры сваливаются рейтузы — резинка там, что ли, лопнула? — полоса на пояснице чешется

по коридору вперед, по плитке поворачивают на второй этаж, там снова по коридору, вниз по деревянной лесенке, вверх по каменному выщербленному пандусу, через пустой захламленный холл, где все двери заперты, на скрипучем лифте пять этажей вверх (здесь другой запах — еды и жилья), темно и тихо, теперь они идут вперед, как по аквариуму, в полной темноте и тишине в самую глубину больницы куда-то, несколько одинаковых запертых постов, на которых никто не сидит, и вот пост, где горит настольная лампа, огибаем этот пост, по широкому коридору мимо нескольких запертых дверей

и вот

широкая, почти квадратная дверь, состоящая из двух дребезжащих рам, в которые вставлены старые пыльные стекла

медсестра толкает дверь

Вера входит и кладет младенца на матрас

комбинезон кладет рядом

паспорт, полис

и подтягивает рейтузы, и чешет поясницу, о, да-а

* * *

Младенец теплится на кровати, помахивая руками и ногами, и пора уже сказать: ее зовут Доли.

Старый памперс завернут и сложен. Новый пахнет свежим памперсом. Вообще же дух в палате стоит густой, тяжелый. Вера еще не поняла откуда.

В окне цепочка фонарей, многоэтажки за широким снежным полем, вдали, на проспекте. Тягучее, вязкое небо: мороз.

В палате темно, только светится айфон в руках соседки. И освещает соседкино лицо — уступами: лоб, нос, подбородок, скулы, темную густую челку.

Соседка сказала «здравствуйте», когда вошла Вера, и — в айфон.

Теперь Вера опять вспоминает, что не ела весь день. Ей ужасно хочется есть и пить. Вон там, в окне, — «Пятерочка», это не дальше километра (через пустое поле, по мерзлой дороге прямым углом, наверное, чуть дальше). Будет работать еще час. Но как отсюда выйти. С Долли.

У меня есть колбаса и кока-кола, — шепчет соседка. — Возьмите на тумбочке.

Спасибо, — Вера нашаривает на тумбочке пластиковую упаковку, съедает пару кусков колбасы, идет в темный туалет и запивает водой из-под крана. Вода на вкус простая, пресная и кажется фиолетовой. Света они не включают.

Соседка молча скребет по айфону. Вера лежит на боку, подбив под себя мякенькую Долли, удобно прижав груди, колючее одеяло и плоскую подушку, и наблюдает за соседкой. Та лежит почти неподвижно, на спине. Горой кажутся ее колени. Тяжелое лицо подсвечено и неподвижно. На вид ей столько же, сколько и Вере, — около двадцати лет.

Вас как зовут? — шепотом окликает Вера.

Варя, — отзывается соседка, не отрываясь от гаджета. — А вас?

Вера. Можно на ты.

Вечер длится еще долго, потому что, хотя обычно Вера спит мало, урывками, но не может уснуть. Снова сползает то одеяло, то они обе — с матраса, то скрипят пружины у соседки, то вдруг хлопает от сквозняка дверь. Вера засыпает, и просыпается, и, глядя перед собой, всякий раз видит Варю, которая спит как гора, накрывшись одеялом и простыней, в рассеянном отраженном свете города, красного неба. Долли пищит, Вера кормит, качает, кормит. Потом они все-таки засыпают — и спят долго, почти четыре часа, так что, проснувшись снова, видят уже желто-синий качающийся свет и слышат бодрый окрик медсестры, которая в шесть тридцать вызывает их сдавать анализы.

* * *

когда они приходят снова (скоро завтрак, молока нет, губы пересохли), Варя еще спит.
запах усилился, и теперь при свете лампочки из коридора видно: на батарее
а батареи жарят, и слава богу, в минус двадцать пять это очень кстати
комками темнеют Варины шмотки. Колготки, джинсы, свитер кое-как напиханы, приткнуты между батареями и стеной.
Вера осторожно кладет Долли на кровать, подоткнув подушкой
подходит и щупает: комья одежды — все засохло как будто Варя вчера попала под дождь и скомкала сушить (но ведь мороз)
и пахнут; запах этот не настолько ужасен, чтобы сказать «воняют»; это сильный, определенный запах, характерный, какой-то соленый и темный, как кажется Вере

На Вариной тумбочке слои беспорядка
высится двухлитровая бутылка кока-колы, как будто на маленьком острове возвели башню Федерация
а вокруг рынки, привокзальные бардаки, колбасные шкурки, фантики, наушники, книжка — старый детектив

сама же Варя спит, кротко, отвернувшись к стене, с головою укрывшись, совсем
лица не видно
она спит как гора: плотная деваха, ноги с накрашенными ногтями, тоже плотные, крепкие

Вера примечает все
за послеродовые пустынные месяцы в ней разви-
лась болезненная пристальность
подробности лезут в глаза, цепляются за Веру, не
дают покоя
Вера как будто совершенно разрушилась — ни
чувств, ни желаний, — только экономные, механи-
ческие, как во сне, повседневные практики да эта
лента, полоса бесконечно-пестрых, проходящих,
текущих через Веру впечатлений
каждая секунда высится, увеличивается в разме-
рах, обростает тысячей характеристик
так что ни пошевелиться, ни слова сказать
это как во сне, как в тяжком сне

и Варя, соседка, — типичный герой этого сна
тысяча подробностей о ней уже известно Вере,
и все, что она узнает дальше, не станет для нее
чем-то новым

тяжелые черные комки джинсов и колготок жа-
рятся на батарее, пахнут, а за окном стывшая мороз-
ная чернота не рассеивается до десяти утра

* * *

после второго сна Вере значительно труднее от-
крыть глаза. Сон длился всего сорок минут, теперь
время завтракать. Но Вера встает.

— Варя, — не очень громко зовет Вера, стоя над со-
седкой с Долли на руках. — Завтрак!

Варя хрипло стонет, тяжело переворачивается на спину, поправляя одеяло, чтобы не сползло с попы и живота.

— Спасибо. Я не пойду, — не открывая глаз. — Я-ни-когда-не-ем-с-утра.

Вера завтракает. Отделение, на котором она лежит, — сборное, сводное. Здесь лежат подростки с инсультами, и подростки с эпилепсией, и дети с травмами головы, и почему-то — подростки и дети «с гинекологией», после операций или чего-то подобного. Вера узнает об этом, мельком заглянув в журнал, лежащий под кругом лампы на отделении. Она даже видит несколько фамилий с диагнозами. Некоторых Вера узнает в столовой, за кашей. Девочка с инсультом прижимает к себе руку и волочит ногу. Странно, что все они чуть младше Веры, но она здесь как «мама», а не как они — дети.

Светает. В какой-то момент Варя, пошевелившись, открывает глаза и тянется за айфоном.

— Доброе утро, — с готовностью говорит ей Вера, которая давно уже сидит на краешке койки. (Долли спит, а Вера снова не может уснуть.)

— Ага, — хрипло отзывается Варя, — доброе.

Вера видит теперь: вокруг Вариного запястья обмотан бинт.

Ты здесь по этому делу? — Вера показывает на запястье.

Нет, — объясняет Варя, и, видно, не в первый раз. — Это меня ножом в драке зацепили. Мой парень подрался, а я стала их мирить. А лежу я из-за выкидыша, — это Варя говорит вполне равнодушно.

Вера чувствует ужасный жар в голове и поднимает руки ко лбу.

— Блин, — говорит она. — Я тебе ужасно, ужасно сочувствую!..

Ее первая мысль: вот сволочи, положили ее, счастливую мать с ребенком, в одну палату с человеком, у которого такое...

— Ага, — говорит Варя. — Я вообще-то из детдома. Это очень плохая больница. Меня в первый раз привезли позавчера еще. Воспитатель очень ругался, что пришлось приехать. А меня не взяли, типа там с бумажками что-то не то. И мы поехали обратно. А потом уже кровь потекла, и ночью скорую вызывать пришлось.

— Кошмар, — говорит Вера. — Я тебе жутко сочувствую!.. А тебе сколько лет? А давно ты в детдоме?

— Пятнадцать, — говорит Варя. — Неа, не очень давно, года два. Просто мама умерла, а потом мой папа со мной не справлялся.

— Что значит «не справлялся»?

— Ну, я плохо себя вела, не училась, там, всякое такое... Это мне папа все принес, — Варя кивает на тумбочку.

Теперь Вера разглядела ее как следует:
плотная, со сжатым ртом, кустистыми бровями,
с красными пятнами на щеках, со странными ми-
зинцами на ногах, похожими на мышей

под кроватью — тапки Вари
обычно тапки похожи характером на владельцев
Варины тапки — это совершенно новые, нетоп-
таные тапки с рынка, куски фиолетового пла-
стика
но Вере кажется, что они похожи на Варю
в них и что-то мертвенно спокойное, и что-то раз-
бойничье
что-то от иной породы, а порода не зависит от
того, где человек растет
эта иная порода представляется Вере как нечто
несдерживаемое
такое, что не может себя сдержать
чесет и чешет, лижет и лижет, льется сильным по-
током, струей
вот и волосы у Вари густые, тугие, и все ее лицо
такое же
и ноги — все это обилие, сила, не сознающая
себя
и так странно-равнодушно она говорит обо всем,
что с ней происходит

Вере это странно, а ведь не должно быть странно
ведь сама Вера и вовсе не упоминает о том, что
происходит с ней
каковы обстоятельства ее жизни, родов
ее чувства или приключения
Вера вообще как будто забыла о них
она как будто зависла в пространстве, время для
нее как будто не идет

* * *

Кстати, если уж говорить о тапках
то у Веры тапок нет и вовсе
и когда их с Долли, а точнее, Долли с нею вызывают
на различные процедуры, то Вера ходит по
всей больнице в носках
причем все глядят на ее ноги, а она сама на них
совершенно не глядит, а, пританцовывая, шагает
по линолеуму, плитке, шероховатому бетону со
светской полуулыбкой: мне так удобнее

Процедур назначено много. Хотя Варя и отозва-
лась о больнице плохо, врачи тут кажутся Вере
добросовестными. Они проверяют ее куклу все-
сторонне и при этом совершенно отстраненно,
как будто действие, которое началось вчера вече-
ром с визита скорой, должно быть завершено
и уже не зависит ни от чего привнесенного извне.
Они делают Долли ЭЭГ, нацепив на маленький пу-
шистый орех нашлепки с прищепками; берут на
анализ кровь и «писы»; нервная худая УЗИстка
в хипповских бусах долго ворочает и крутит намы-

Детдом

ленную гелем рукоятку, вода ею по младенческому родничку. Все в порядке, и Вера начинает слабо шевелиться.

— Я не хочу сидеть здесь неделю, — говорит она врачу. — Я хотела бы написать отказ.

— Вы уверены? Ладно, — отвечает молодой хирург. — Только у меня операция, я не смогу к вам зайти скоро. Я буду у вас между двумя и четырьмя. Ждите.

* * *

Вера ждет.

Долли сосет грудь. Варя разговаривает по айфону.

— Да она совсем уже, — говорит Варя в трубку. — Просто решила воспользоваться тем, что я здесь. Но это у нее не получится. Потому что, когда человек совсем уже сторчался...

Вера воображает себе жизнь Вари. С пьяными драками. Со сторчавшимися конкурентками, такими же детдомовками. А сама она? А что за беременность? Готова ли она была сохранить ребенка?

Все ответы Вера знает внутри себя. Спрашивать не о чем. Варя врет и блефует, но Вера чувствует, что во всем этом — правда.

Единственное, чего не знает Вера: это не просто выкидыш, воспитки незаметно скормили Варю

таблетку мифепристона, с чаем, — надо им, чтобы дети рожали.

Но, скормив, сделали вид, что это выкидыш, разумеется. Но этого не знает и Варя, поэтому Вере тем более невозможно знать.

Вера сидит, кормит Долли и не отрываясь смотрит на Варю

на то, как она с трудом ворочается

на бурые пятна ее простыни, одеял

вдыхает запах бурых комковатых джинсов, уже засохших до твердого состояния на жаркой батарее

входит в Варину жизнь, входит, входит, входит

кока-кола — папа принес

(у Веры нет и не было никакого папы, мама тоже на том свете, как и у Вари)

— Я в пятом классе, — говорит Варя равнодушно, — из детдома, значит, позже выйду. Если школу не закончил, тебя до двадцати трех лет держат.

Вера лежит закрыв глаза

изнанка век — в пятнах солнца от тополей, в тополином пуху, в зимний полдень — представляет себя

Варей — как изымают, уводят и как сижу, курю, семки, магазин двадцать четыре часа, — в зимней

больнице, в январе, лежа на железной сетке кровати и глядя вверх, в стандартный потолок — лежа у стены, на которой нацарапаны палочки (дни до освобождения предыдущих сидельцев).

Как-то очень уж много этих палочек. Некоторые сидели и по три месяца. Зачеркивая каждый день.

Одна короткая серия палочек особенная. Рисовали ее с сильным нажимом, так что краска кое-где процарапана насквозь, и зачеркивали тоже энергично, яростно. Кажется, что это уже и не палочки, а какие-то люди, взявшиеся за руки, уходят вдаль: большой, поменьше, еще поменьше.

в бурых пятнах

запястья к делу отношения не имеют, потому что это ее ранили чуваки, которые дрались с ее мальчиком, а она пыталась разнимать...

а точно ли врала? А может, врала и правду

и Вере кажется уже, что она входит в Варю совсем, с потрохами

это как выпить два литра кока-колы на спор в один присест

вот как те два литра, вмещает Вера в себя всю эту жизнь залпом — и уже не может совсем из себя изблевать, как ни тошнит под веками и во лбу
закроешь глаза и видишь то же самое

и свет за окном становится определенным, дневным, уже два часа, полтретьего, а врач все на операции — небось, забыл о нас, — уже три, и Вера, преодолевая оцепенение, понимает, что надо действовать, надо что-то делать

* * *

Больница построена из одинаковых модулей, поставленных рядом и друг на друга с некоторым смещением, так что ты вечно переходишь из одного в другой.

Когда Вера выходит из палаты, она видит, как за девочкой-с-эпилепсией приехала мама. Это благополучная девочка, вроде нее самой, только помладше лет на восемь, — до этого они сидели с подругами на полу у стены в предбаннике палаты и о чем-то болтали, а теперь она (Лиза Цурканова, Верина память восстанавливает строчку в журнале, увиденном на отделении) радостно бросается маме на шею
хлопоты, сейчас они уедут

а мы?

Вера идет искать нейрохирурга, давшего ей обещание. Но больница огромна, а врача она в лицо не помнит. Поиск обречен на неудачу
а между тем начинает темнеть

в какой-то момент Вера понимает, что ей не справиться по всей форме

она одевает Долли, собирает свои бумаги и решает уйти, просто уйти

— Я не могу здесь остаться еще на день, — говорит она сама себе (Варя апатично зырит в айфон, ее

Детдом

плотные губы сжаты, лицо спокойное и угрюмое). — У меня работа ребенок

тяжелый, белесый февральский день, обложенный облаками, мороз
она бросает последний взгляд на башню Федерация, уже пустую
на комки пересохших штанов и сальные густые волосы Вари
на бурые пятна, мятые заломы

Вера что-то говорит, стоя посреди палаты, как будто по-прежнему ждет
она говорит, а сама оцепенела, ей снова жарко, ей еще идти, идти
Долли уже, извиваясь, начинает хныкать
и Вера, продолжая говорить, расстегивает дубленку и дает ей грудь
но Долли грудь не берет, а хнычет от жары, вытягивает ножки в комбинезоне
а Варя все смотрит в свой айфон, шевеля губами

и Вера пытается — не уйти — стать Варей
отказываясь от себя и даже от Долли — одним ударом стать ею, перестать быть собой, сделаться Варей из Веры и спасти ее, себя, их обоих
и не то чтобы так будет справедливо, не то чтобы это «правильно» или это какое-то «решение», нет

а просто потому что так, как сейчас, — невыносимо, не поможет ни карандаш, ни зачеркивание палочек, ни башня Федерация и два кружка колбасы,

ни даже зима, ни покарябанный рюкзак, ни ламинированное свидетельство о рождении, ни все процедуры, ни подаренный спонсорами детдома седьмой айфон

и когда Вере почти уже удается стать Варей
стеклянная дверь — круть, и в палату входит врач-нейрохирург с бланком отказа в руке

* * *

но, поворачивая голову, стоя на сумрачной узкой
улице, под небоскребами и снегом
Вера все еще продолжает пытаться стать Варей
ее душа мерцает между Варей и Верой

а тело, не чувствуя холода, стоит и держит Долли
которая снова уснула от переживаний, и слеза блестит
в небольшом и красивом ухе
голеньком, потому что шапка сбилась на сторону

в Вериной сумке урчит телефон, работодатель
в гневе, баланс не готов, он не знает о форс-мажоре
Верино тело стоит как статуя, маршрутка появляется
в конце улицы

а Верино тело стоит, а Верина душа мерцает, входя
в Варю
которая полулежит на своей койке, а Варин папаша
в палате сидит рядом с Варей, вполпьяна, смущенно хихикает в кулак, гикает, делает резкие
движения

Детдом

полулысый, чернявый, с резкими чертами лица
и Варя без всяких эмоций слушает его, прикрыв-
вая, впрочем, бурые пятна на простыне
вернее, стараясь прикрыть, их все больше
температура подымается
завтра будут опять делать чистку

вон поворачивает триста шестая с Ветеранов, фа-
ры вспыхивают на повороте
ламинированное свидетельство о рождении в ру-
ке — на него напал снег

стоят кругом, в руке нож, за гаражами

Долли кусает Веру за сосок, сильно кусает
и она, очнувшись, делает шаг вперед и вытягивает
руку

и триста шестая начинает тормозить, тормозить
и останавливается у обочины, слегка обрызгав
Веру и Долли грязноватым снегом

Внутри темно, слегка накурено и играют безликие
песни. Водитель рвет с места, пробуксовав по ле-
дяной колее. Звезды, фонари и снежинки летят
Вере навстречу.

3. Братаны

Ночь в маленькой общажной комнатухе. Небо в окне — красное. Густой январский дождь шумит по крышам. Фонари Западного скоростного диаметра, рядом с которым стоит общага, шпартят прямо в окна. В комнатухе ничего нет, только тахта старая у окна да матрас у стены. Обои порванные. Форточка не закрывается. А в углу свалка барахла. Черная какая-то шмотка и вывернутые джинсы, пачки из-под доширака, колпак на резинке с бесплатного Нового года. Еще кружки на окне: «Кировский завод» и «Трехсотлетие Петербурга». И пластмассовый детский горшок. И рюкзак школьный, с молнией сломанной.

— Йома-а-а! — воеет трехлетний Серый, стоя посреди комнаты босиком. — Где ма-а-ама?!

Второклассник Рома с трудом просыпается и садится на матрасе. Обрывки сна: елочные шары, мыльные пузыри, изложение. Дождь заливает окно.

— Бля, Серый, — шепчет Рома, кутаясь в одеяло. — Че ебнулся? Мать разбудишь.

— Мамаы не-е-ет! — воет Серый, приплясывая с ноги на ногу от ужаса и холода.

Рома протирает глаза. На продавленной тахте у окна — пусто. Валяются только подушка и скомканное одеяло в ногах. Серый воет, дождь колотит в стекло.

— Погоди, — говорит Рома. — Я щас на кухню сбегаю. Она там.

Но нет, не там она — мама. Потому что сумки ее нет. Куртка на гвоздике не висит. И дверь закрыта снутри, как он вечером запер. Можно и не бегать на кухню-то. Мама так и не пришла. Но это бывает.

— Ладно, — Рома берет Серого на руки, сажает на тахту. — Так и быть, расскажу, где мама. Хотя это для больших. Это секрет.

Братик маленький, теплый, грязный. Вздрагивает от холода, всхлипывает, дыхание сбилось. Коготками цепляется за Рому, и Ромка морщится.

— Короче. Мама пошла тушить пожар! — объявляет Рома.

Еще когда с другой стороны школы жили, в двухэтажном доме. Выключился свет, пахло дымом

и приехали пожарники. Громко топали, светили в дым фонариками на касках. Было интересно. Серый не помнит.

— Пожар? — удивляется Серый. — Наша мама разве умеет?

— Конечно! — Рома укладывает брата рядом с собой, обнимает, накрывает маминым одеялом. — Наша мама на самом деле — пожарник. Она ходит в красивой краске. Розовой. С золотым фонариком. И на лабутенах, — что-то телевизионное, рекламная заставка всплывает у Ромы перед глазами вперемешку с изложением, которое он писал во сне.

— А она же на заводе работает. Она ж елочные игрушки клеит. Мама говорила.

— Это днем на заводе, — объясняет Рома. — А ночью — тушит пожар.

— А-а, понятно, — успокаивается Серый.

Хороший у Серенького характер. Еще бы если бы он был более боевой. А то его в детсаду все лупят. И воспитатель лупит. И дети другие лупят. И по губам, и по жопе, и всяко. А так Серый — хороший чувак. Ромка любит Серенького, никому его не отдаст. Притискивает его к себе потеснее. Теплый, мякенький Серый. Ромка начинает потихоньку Серого качать.

Дождь грохочет по железному карнизу и по крыше. Бр-р, какой дождь. Хорошо бы мама там была где-нибудь под крышей, а то промокнет. Она обычно говорит: «Зачем мне зонтик, я не сахарная». А у нее был зонтик, пока не сломался. Это был, точнее, не ее зонтик, а ее прошлого бойфренда, Саши. Черный.

— Я писать хочу, — вдруг снова всхлипывает Серый. — Я описаюсь!..

— Не надо! — Рома быстро вытаскивает брата из кровати и тащит к горшку.

Серый писает, а Рома придерживает ему письку, стряхивая последние капли.

— Жди меня тут. Не реви, я саки вылью и приду.

Порыв ветра бросает в окно горсть крупных капель: др-р-рын! Серый в ужасе цепляется за Рому.

— Блядь, — кричит Рома. — Серый, пусти, пролью же щас! Пусти!

Серый вцепляется в Ромину ногу еще сильнее. Коготками. Оба в трусах и майках. Оба дрогнут. Хлопает форточка, по комнате проходит ледяной ветер, сдувает пакет со стола. Свет неба и фонарей — коричневый, фиолетовый, багровый.

— Ладно, пошли вместе, — Рома делает осторожный шаг к двери. Идти неудобно. Серый обхватил

Ромину коленку, как дерево, шагает то одной ногой, то другой, мешая Роме идти.

— Держись за майку, — Рома открывает дверь во мрак.

Серый вздрагивает, вцепившись в Ромину майку. Рома медленно продвигается вперед с горшком. Обычно ночью он мчится в туалет очень быстро. А сейчас надо медленно. И поэтому страшно.

Рома и Серый проходят мимо всех запертых дверей.

Вот тут жил человек, который однажды Роме дал бумажку в пятьсот рублей. Рома купил много булочки, доширака и двухлитровую бутылку кока-колы.

Тут жила злая старуха. Она померла. Ее тащили на большом полиэтилене, который снизу, со стройки у метро.

Там живут таджики. Они всегда на кухне готовят чего-нибудь. Только теперь они не готовят. Даже таджики спят — вот такая темная ночь.

Тут ванна. Она не работает, вся черная, задернута занавеской и забита кусками каких-то досок, камней и тряпками. В туалете тоже темно.

— Хонидо, — пищит Серый. — Ножкам хонидо!

— Шас-шас, — бурчит Рома, выливает горшок, хватает Серого под мышки и тащит обратно в комнату, где льет дождь, сияют фонари с ЗСД и пахнет мамой. Кидает брата на диван, прыгает следом, и они снова накрываются одеялом.

Бр-р! Рому тоже слегка трясет, но уже меньше. Под одеяло с головой. Обнимает мягкого и теплого Серого. Тот греет ножки у него на животе. Ну вот. Уже как бы и получше.

— Больше не ревет Серый, молодец, — шепчет Рома. — Да потому что че реветь, все нормально. Шас уснем, утром проснемся — а мама уже тут.

Серый вдруг садится. Встрепанный, глаза блестят.

— Серый, давай спать, — предлагает Рома и укладывает Серого на подушку, но тот снова садится. Он уже совсем проснулся.

— А почему мама ночью тоже работает? — вдруг спрашивает Серый шепотом. — Никто ночью не работает. Ночью все в своей постельке спят.

— Ни хрена, — возражает Рома. — Ничего подобного. Это только дети все ночью спят. А пожарники не спят. Если ночью что-то загорелось, они же не будут спать до утра, а пойдут и потушат сразу. А то к утру, пока они спят, уже все сгорит.

— А наша мама не сгорит?

— Да ты че? — говорит Рома. — Конечно нет. Смотри, какой дождь на улице. Там промокнуть можно, а сгореть нельзя.

— Но наша же мама, — возражает Серый, глядя на окно, — она не умеет же ездить на пожарной машине! Она только на маршрутке умеет ездить.

— Вот она и поехала тушить пожар на маршрутке. На триста шестой, — добавляет Рома для правдоподобия.

— А-а, понятно, — успокаивается Серенький. — А зачем так сильно дождь стучит?

— А ты боишься, что ли? — Рома укутывает Серенького одеялом и прижимает к себе.

— Я только немножко боюсь, — говорит Серенький.

На потолке вспыхивают пятна света, едут вперед-назад — и, мелькнув, пропадают: какая-то машина развернулась вниз. Дождь шуршит тише. Рома представляет себе, как мама идет домой по их улице и как в лужах от дождя получаются пузыри, светящиеся, яркие, то ли мыльные, то ли такие, как бывают в газировке.

Он вдруг открывает глаза. В комнате светло. В дверь громко стучат.

— Рома, открой! — строгим незнакомым голосом близко-близко.

«Ага. Хер я вам открою». Рома смотрит на Серого. Тот спит, не слышит. Рома накидывает ему одеяло на ухо и неслышно подходит к двери.

— Не перепутали?

— Должны быть тут. Она ушла вечером — Рома тут был...

Снова настойчивый, мелкий, но громкий стук. Костяшками пальцев. Прикладывает рот к замочной скважине:

— Рома, открой! Мы от мамы!

От мамы. Рома смотрит на Серого. Серый спит. Пошли на хуй. Рома молча показывает фак в сторону двери.

— Попробуйте ключом еще раз.

Ключ ворочается в скважине.

— Ключом никак. Или на нижний замок, или они изнутри заперлись и спят.

— Да они бы уже проснулись. Полчаса орем. Тут какой-то еще ключ есть, вы не знаете?

Рома замирает.

— Да ничего они не знают. Надо искать. Он мог в школу уже уйти?

— В семь утра?

— У нее были родственники, знакомые, подруги какие-то? — голоса удаляются.

Что-то новое и такое, о чем Рома совсем не хочет думать, начинается у него внутри. Это не тошнит, не болит; Рома не понимает, что с ним.

Теперь светло и видно, какой жуткий бардак. Из мебели почти ничего, они часто переезжают. На рваной коробке у стены свалены мамины вещи, рядом в пакетах — одежды Серого. Обои драные. Все завалено мусором. Под окном валяется несобранный Ромин рюкзак. В его ободранном нутре — два учебника и тетрадка, почти пустая, неподписанная. На продавленной тахте — засохшие вчерашние тарелки с остатками доширака: ужинали с Серым, руками брали — вилки побоялись просить у соседа. Хлебная корочка. Вода в чашке «Трехсотлетие Санкт-Петербурга».

Скрипит диван. Рома поворачивается.

Серый проснулся и сел. Вокруг его головы пушистый ореол. Он улыбается.

— Мама уже все потушила? Она на кухне? А творожки уже есть?

Детдом

Рома моргает. Мелкие пятнышки, мыльные пузыри из сна еще мелькают перед его глазами, но уже гаснут, их не поймать.

Он садится рядом с братом.

4. Кампоты Гуха

В общем, я, короче, очень глупо сделала, что согласилась на тетю Лену.

Можно было бы найти мне приемную семью и по-лучше.

Вот список ужастиков тети Лены.

1. Вообще не красится. Вообще! Брови как у мужика, и она их не выщипывает.
2. Постоянно играет в шахматы с компьютером и разговаривает даже по телефону на шахматном языке. И даже с Лизкой иногда разговаривает на шахматном языке.
3. Не умеет готовить. Жареную курицу даже никогда не жарит. Только без конца картошка с луком и яйца. Я уже не могу эти яйца есть.
4. В доме нет шкафов и кроватей, одни какие-то штуки из дерева.
5. Нет телевизора!!! Я ужасно скучаю по «Муз ТВ». И по клипам Веры Брежневой, и по сериалу «Уни-

вер», и по всему. Бабушка даже засыпала под телевизор. И в детдоме у нас все время телевизор работал. Я очень скучаю по телевизору. Телевизор — это лучшее, что есть в жизни. Кроме «ВКонтакте».

6. А кстати-ка, почти нет интернета!! Полчаса в день!! Жесть!!

7. Уши у нее не проколоты.

8. Заставляет убираться в комнате и вынимать одежду из стиралки и посуду из посудомойки. И за всякие запрещенные вещи тоже заставляет что-нибудь мыть.

9. Дает мало карманных денег. Сама получает шестьдесят тысяч, а мне дает двести рублей в неделю. Между прочим, мое пособие очень большое, а она его себе в карман кладет, на меня не тратит.

10. Ее кровной дочке Лизе — все, а мне — ничего. В день рождения ей подарки все дороже, а мне вообще почти ничего не подарили, только тошто заранее договорились из виш-листа.

11. Я думала, что у них у всех седьмые айфоны, а у них оказались обычные телефоны. А когда я сенсорный потеряла, мне вообще купили дешевый кнопочный, стыдно в школе его даже вытаскивать.

12. И своей комнаты у меня нет. Я сплю в одной комнате с Лизой.

13. Драться нельзя. Материться нельзя.

14. Если опоздала и не позвонила, тетя Лена ебет мозги.

15. Она жирная и меня тоже заставляет есть!!

16. И заставляет учиться. На какие оценки в школе — все равно, но она сама меня учит, и всякое

спрашивает, и достает всякими своими книжками и прочей хуйней.

17. И на стенке висят тупые правила, то, что нужно отзваниваться, когда куда-то пошел и задерживаешься, и всякое такое, и их надо выполнять.

18. И у нее есть хахаль Игорь, который тоже постоянно играет в шахматы и разговаривает на шахматном языке.

19. И она никогда не жалеет тебя, очень злая, но при этом все время называет ласковыми именами. Это очень противно.

20. Она называет меня Ангельчик!!! Масик!!!! И зайка!!!!

Короче, я попала с тетей Леной конкретно. Не надо было на нее соглашаться.

А вдруг бы следующая тетенька пришла бы ко мне, как к Артему Санжарову! Его приемная мама работает на «Муз ТВ», и у нее квартира сто двадцать пять метров в центре Москвы.

Ему все завидовали, когда его забирали.

Потому что все же хотят попасть в богатую семью.

А за мной очередь стояла, потому что я *элитный ребенок*. Это наш соцпедагог мне сказал. По секрету.

Элитный ребенок — это который недолго пробыл в детском доме и который здоровый и учится в норме, а не в коррекции.

Там у нас в первой группе почти все в коррекции. Это значит почти дебилы. И они мне все завидовали тошто я нормальная. Настя даже туфли у меня сперла от зависти. Потому что ее вообще в роддо-

Детдом

ме бросили, а меня никто не бросал, и я не из таких детдомовских детей, у меня просто мама умерла очень давно, а бабушка умерла недавно, а так я нормальная.

Поэтому, короче, за мной очередь и стояла.

* * *

И вот однажды соцпедагог мне говорит:

— Так, Анжелика, сейчас за тобой в очереди стоят двадцать тетенок, и все хотят тебя взять, и все очень богатые. Но первая из них — тетя Лена, и нам как-то неловко сразу ей отказывать. Поэтому ты сначала от нее откажись, а потом мы посмотрим варианты получше.

А я, дура, не отказалась от тети Лены. Потому что про нее все говорили, что ее ученики даже занимают первые места и их по телевизору показывают. По шахматам. Она и к нам пришла в детдом, чтобы шахматам обучать парней. Просто никто из них учиться не хотел. Но зато казалось тошто тетя Лена добрая и богатая, и, кстати-ка, я ее уже много раз видела и здоровалась. Поэтому мне было не так страшно к ней пойти, как к неизвестным тетенькам. Вот я и согласилась. Дура! Оказалось то, что на самом деле тетя Лена никакая не богатая и к тому же злая.

И как только я это поняла, то устроила тете Лене большой скандал. Я очень сильно плакала и умоля-

ла тетю Лену отвезти меня обратно в детдом. Ведь я *элитный ребенок*, и меня оттуда забрали бы *варианты получше*. Я бы имела седьмой айфон, планшет, сколько угодно интернета, блестящую сумочку, блестящие туфли, рюкзак Nike, кроссовки Nike, я ездила бы в Париж.

А тетя Лена мне сказала:

— Эх, Анжелика! Да вашего соцпедагога надо... кхм... Она тебя просто обманывала. Какие еще элитные дети? Какие двадцать тетенок в очереди? Подростков вообще в семье берет неохотно.

— А вы тогда меня зачем взяли? — спросила я.

— А я сначала думала, что смогу в вашем детдоме шахматами какую-то пользу принести. А потом увидела, что вам там не до шахмат. И поняла, что единственный способ принести вам какую-то пользу — это кого-нибудь оттуда взять в семью. И решила взять тебя, потому что ты, душенька, симпатичная, милая и недавно там, еще не успела заморозиться окончательно.

ДУШЕНЬКА. Это че за слово?! Где она его взяла ваще?! Это кто-то кого-то душит, что ли?!

Я говорю:

— Я блядь не душенька!!!

А тетя Лена говорит:

— Дружочек, еще раз то же самое без мата.

— Я НЕ ДУШЕНЬКА!!!

— Окей, — говорит тетя Лена. — Я, конечно же, не собираюсь отвозить тебя ни в какой детдом. Боже упаси! Ты будешь жить у меня до восемнадцати лет как минимум. А что мы не богатые, так это не так уж важно, деточка. Важно же не богатство, а отношения.

— Чаво-о? — я прямо покраснела вся от этого слова. Даже не ожидала от нее, что она такое скажет. — Какие «отношения», простите?..

Тетя Лена на меня посмотрела и сказала:

— Отношения — это ЛЮБЫЕ отношения. Дружба, там, семья.

— Так и говорите: дружба и семья. А то чего вы меня пугаете. Отношения — это когда... ну...

— Уф-ф, — сказала тетя Лена и больше уже ничего не сказала, как я ни скандалила.

И даже когда я сломала дверь, и вся от слез распухла, и не могла больше орать, тетя Лена все равно ничего не сказала и не отвезла меня обратно в детдом. Вот так я попала.

* * *

Я когда писала, что самое плохое у тети Лены, я забыла, кстати-ка, самое-самое ужасное.

Забыла, потому что оно все время, и про него уже даже как-то забываешь.

Кампоты гуха. Вот что самое плохое.

Я ненавижу кампоты гуха. Я **НЕНАВИЖУ** кампоты гуха.

Это... Это такая типа музыка. Только это не музыка, а хер знает что. Это какие-то жуткие завывания на непонятном языке. Сначала завывают все вместе, потом, короче, по отдельности, потом снова вместе, и так **БЕЗ КОНЦА**. Ну, вы уже поняли. Вы уже поняли, что это такое.

А мне приходится жить все время с кампотами гуха.

Потому что тетя Лена заводит кампоты гуха каждый день. Реально каждый. Иногда она их, правда, слушает в наушниках. Но чаще всего она их слушает прямо без наушников, и слышно на всю квартиру.

Раньше я могла сама взять наушники и слушать что-то в телефоне. А теперь у меня очень простой кнопочный телефон, тошто я даже не могу в нем слушать музыку. И у меня нет никакого выхода.

Я так мучаюсь, я просто умираю.

И в машине она тоже их слушает. Однажды мы с тетей Леной, с ее хахалем Игорем и с Лизкой ехали в какой-то город... забыла, как называется... смотреть какие-то там... короче, что-то смотреть. И вот когда мы ехали обратно, тетя Лена завела кампоты гуха, все подряд, ТАК ГРОМКО, что у меня просто сразу уши заложило. И я закричала: — ТЕТЯ ЛЕНА! Выключите эту гадость! Я больше не могу их слушать! Вы можете хоть раз поставить НОРМАЛЬНУЮ современную музыку?!

— Нет! — ответила тетя Лена.

Я очень обиделась, разозлилась и решила достать тетю Лену. Я стала жутко скандалить, бить ногами ее сиденье, вопить и мешать ей вести машину. Тогда тетя Лена остановила машину, обернулась, посмотрела на меня и сказала:

— Милая деточка! Ангельчик мой! Я НЕ БУДУ слушать Веру Брежневу. Я ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ современную музыку. Я люблю *кампоты гуха*, и в МОЕМ доме...

— ...А мы не в доме!

— ...А также и в МОЕЙ машине мы будем слушать ТО, что я хочу. Постарайся это понять, а главное, не разноси мою машинку, — сказала тетя Лена и, не дожидаясь ответа, опять поехала и опять завела кампоты гуха на полную громкость.

* * *

Ну, теперь-то вы поняли, как я попала.
И теперь вы, конечно, понимаете, КАК я обрадовалась, когда узнала, что тетя Лена собирается в командировку в Москву на целых три дня! Там у них какой-то турнир, и она там судья.
И оставляет нас с Лизкой совсем одних!

До этого она пять месяцев подряд от меня вообще не отходила. Она же еще и работает рядом с домом, и как-то у нее там, что она может в любой момент примчаться домой.

Короче, тетя Лена ужасно меня достала. А особенно кампоты гуха.

И я очень обрадовалась при этом известии. Я так и сказала, чтобы ей было неприятно:

— Ура! Наконец-то я хоть побуду одна. Как я рада!

А тетя Лена улыбнулась и говорит:

— А я буду слегка скучать.

А я говорю:

— А я вообще нет! Я очень устала от вас!

А тетя Лена сказала:

— О-о, первый невозможный ход, — и указала на наши правила, которые висят на стенке.

А в правилах написано, что если невозможный ход (ну, то есть грубость, там, всякая, или забыла

позвонить, и так далее), то я должна сделать *одну единицу уборки* по тети-Лениному выбору.

— Ляля, давай-ка направляйся мыть унитазики, — сказала тетя Лена (вот так она всегда разговаривает, ужас, да?)

— Чаво-о?! — возмутилась я. — Я что вам, служанка?! Я не буду!!

— Правила, — сказала тетя Лена. — *Одну единицу уборки* по моему выбору. Счас засчитаю второй невозможный ход, и к унитазу прибавится... э-э... прибавится...

Это у них там на турнирах такое вот. Как собаки все равно дрессированные! Засчитаю, не засчитаю!

— НЕТ! — закричала я. — ТОЛЬКО унитази!

— Окей, — сказала тетя Лена. — Времечко пошло.

Я мыла унитаз и плакала, какая я несчастная, что бабушка умерла и со мной случились все эти вещи. Почему всем так везет, а мне никогда не везет?

Я нарочно выдавила в унитаз все средство для мытья, чтобы оно кончилось, потом кое-где немножко потеряла для вида.

Потому что если вообще ничего не помыть, то тетя Лена догадается и заставит перемывать. *Душенька*. Ненавижу ее!

Потом я пришла к тете Лене и сказала:

— Все.

— Что-то не очень чисто, — сказала тетя Лена.

— А это потому, что средство кончилось, — сказала я.

— Окей, — сказала тетя Лена. — Штраф пятьдесят рублей из карманных денежек.

— ПОЧЕМУ?! — возмутилась я. — Оно же просто кончилось!!

Но тетя Лена уже ничего не слушала, а спокойно себе пошла на кухню пить чай. Сука. СУКА!!!

* * *

Иногда я думаю, что хорошо бы умереть.

Но потом я думаю, что это не поможет.

Ведь на том свете, которые самоубийцы, не попадают в рай.

А я хочу попасть в рай и встретиться с бабушкой.

Ну, и с мамой тоже, хотя я ее не помню.

Поэтому я не буду самоубиваться.

И буду мучиться всю свою жизнь. Ну, до восемнадцати лет. Пока не вырасту.

Или можно еще сделать что-нибудь такое ужасное, из-за чего меня отправят обратно в детдом. Но я уже поджигала занавески и сама испугалась, а тетю Лену мне напугать не удалось.

Детдом

А по-настоящему ужасное я делать боюсь. Я ведь все-таки нормальный человек.

Вот Варька на моем месте смогла бы.

И многие в детдоме смогли бы. Они там все чокнутые. А я нет.

* * *

Но наконец-таки наступил вечер, и тетя Лена уехала на свой турнир.

И теперь я была счастлива.

Я могла делать все что хочу!

Сначала я залезла в тайник тети Лены, чтобы съесть все сладкое. Но тетя Лена почти все сладкое спрятала. Оказалось только пол-плитки шоколада. Я ее съела.

Потом я полезла в тети-Ленин стол, где нет замочков. Там лежали только какие-то бумажки. Больших денег не было, а только сложенная в несколько раз бумажка в пятьдесят рублей. Я ее не стала брать, потому что тетя Лена придет и закатит скандал. Тогда я пошла в нашу комнату и, пока Лизка мылась в душе, взяла у нее со стола мелочь. Это за воровство не считается. У меня же штраф, и мне надо деньги себе вернуть как-то. Теперь зато у меня было уже почти двести рублей, и я могла себе что-нибудь купить.

Потом я пошла в магазин и купила большую бутылку «пепси», несколько пачек ирисок и пакет чип-

сов. И я залезла в постель и там все это съела. И я попросила у Лизки телефон и громко, без наушников, слушала Веру Брежневу. Лизке пришлось самой надеть наушники, потому что она тоже не слушает Веру Брежневу, а слушает каких-то хриплых чуваков, которые грохочут. А я слушала Веру Брежневу, подпевала, рассыпала даже чипсы по всей постели, и мне было весело.

Потом я позвонила Маше и сказала:

— Прикинь, тетя Лена уехала на все выходные! Пошли завтра гулять и снимать на видео на твоём телефоне!

А Маша мне сказала:

— Не, Анжелика, не могу, меня тоже на все выходные берет папа, а я его уже месяц не видела.

Я немножко расстроилась. Потому что я уже подумала, как мы клево будем гулять с Машей.

Тогда я подумала немножко и позвонила Верке. Хотя, конечно, Верка слишком крутая для меня и она не очень хочет со мной дружить. Но зато у них своя компания.

— А помнишь сериал «Испания»? — сказала Верка. — А, у тебя же телика нет. А мы завтра ваще собираемся в «Галерею».

— А можно с вами?! — сказала я.

— Ой, не, я не могу! Просто у нас три билета на выставку художника, который из лего строит. А билеты стоят пятьсот шестьдесят рублей. У тебя же нет таких денег!

Короче, мне пришлось звонить Наташке. Хотя я не хотела. Наташка все время обижается и ссорится, и она какая-то придурочная.

Поэтому в субботу мы пошли гулять с Наташкой. Конечно, мы сели на триста шестую и доехали до торгового центра. Потому что это самое интересное место у нас на районе. Там есть такой магазин, где можно всю косметику долго-долго смотреть и даже нюхать духи бесплатно. И мы все время представляли, что мы все это вот купили, и духи мы нюхали, пока уже у нас не заболела голова. Потом мы пошли смотреть на попугаев и крыс, где их продают, потом на золотые украшения. И там мы поссорились, что сережки с дельфинчиками и рубинами красивые или нет. Наташка назвала их «какие-то как у бабушки», а я очень обиделась, потому что у бабушки были и правда похожие сережки, но откуда это Наташке знать, и вообще чего она трогает мою бабушку! И я так обиделась, что хотела уйти вообще, но потом мы все-таки пошли назад вместе, пешком, но уже всю дорогу Наташка только и делала, что ссорилась, и цеплялась, и говорила гадости, например, про школу. Короче, прогулка не очень-то удалась, тем более что и денег только на маршрутку хватило в одну сторону.

И я домой пришла очень злая, потому что я-то надеялась тошто Наташка меня пригласит домой и я смогу у нее посидеть «ВКонтакте». А она не пригласила и вообще сучка.

А утром в воскресенье лил сильный дождь. По правде говоря, не очень сильный, но я сказала Наташке, что я простудилась и не могу под таким дождем гулять. И что мне надо делать уроки. Хотя на самом деле я не собиралась ничего делать. Просто меня задолбала эта Наташка. И мне было очень скучно.

Лизка в воскресенье пошла на какие-то дополнительные лекции.
А я осталась дома.

* * *

Я умирала от скуки.
Мне было вообще нечего делать.
Мне было так скучно, что я просто лежала в постели и тупила.
И я достала старые фотографии, где мы с бабушкой сидим на диване, где нас дядя Сережа снимал, и еще ту, где бабушка молодая.

Потом я покрасила ногти, но получилось некрасиво, и я их стерла. И ацетон закончился.

Потом мне пришло в голову приготовить сладкие сырники по бабушкиному рецепту. Но я сделала

слишком сильный огонь, а сырники расползались, поэтому я их сожгла.

В общем, у меня ничего не получалось. Одни неудачи.

Я стала мерить всю одежду, но почему-то это было совсем не так уж и весело, ведь никто на меня не смотрел даже.

А еще я очень расстраивалась, что до приезда тети Лены осталось уже всего только несколько часов, а я так и не повеселилась.

Потому что конечно, когда денег нет, то нормально не повеселишься.

Скорее бы уже мне стало четырнадцать лет. Когда мне будет четырнадцать, то я пойду работать и к восемнадцати скоплю на отдельную квартиру и перееду от тети Лены. И я буду покупать себе какую захочу косметику.

От скуки я даже достала сказку о рыбаке и рыбке и прочитала ее четыре раза вслух. Так что вы можете себе представить, как мне было скучно.

Потом пришла Лизка, и я к ней пристала, чтобы мы посмотрели вместе хотя бы какой-нибудь фильм. А Лизка мне ответила, что тетя Лена ей велела показать мне фильм про океан. И нам пришлось смотреть фильм про океан. Ничего

оказался фильм, даже интересный. Про куски льда, которые везде плавают-плавают, а потом переворачиваются, и что, оказывается, в океане плавают очень много мусора, и его трудно убирать.

А потом я стала просить показать мне еще один фильм, но Лизка сказала, что хочет послушать музыку, и стала слушать своих чуваков с грохотом.

А я ей сказала:

— Как ты можешь, Лизка, слушать постоянно один какой-то, блин, мужской голос! Ты не хочешь хоть раз в жизни послушать нормальные песни с нормальным женским голосом?

А Лизка говорит:

— Веру Брежневу я слушать больше не хочу.

А я говорю:

— Да не Веру Брежневу! Почему сразу Веру Брежневу?! Чуть что, так Веру Брежневу! Давай послушаем вот эту тетеньку, которая поет вот это — я только забыла, как называется, в торговом центре играют это все время! Ну... вот такое, типа, — я напела мелодию, — «за-айцы, тре-енер, тру-ру-ру-у...» — только я слов настоящих не знаю, там по-английски.

Лизка на меня посмотрела и говорит:

— Чаво-о?

Я даже засмеялась — так похоже на меня сказала. Прямо от меня набралась. За пять месяцев, что мы в одной комнате живем.

— Песня, — говорю. — Это такая песня, ее играют в торговом центре.

— Там ничего такого не играют, — говорит Лизка.

— Играют! — сказала я. — Ты просто не знаешь! Ты там не бываешь так часто, как я!

— Ты хочешь ЭТО послушать? — переспросила Лизка.

— Ну, там просто ЖЕНСКИЙ голос поет, — сказала я. — И очень красиво, кстати-ка. Хотя и по-английски.

— Это не по-английски, — сказала Лизка.

— Ты там ваще не была и это не слышала! Я тебе говорю же, что по-английски! — сказала я. — Так ты можешь это найти?

— Конечно! — сказала Лизка и даже спорить не стала, взяла и нашла.

И мы послушали с большим удовольствием. Потому что женский голос красивее мужского. И вообще женщины красивее мужчин.

И эта песня, честно говоря, ко мне прямо привязалась.

Мы ее послушали три раза.

Когда ее поют, я представляю какой-то такой клип. Как будто розовый сад, и над ним очень-очень черное небо, с золотыми звездами. И посреди этого розового сада стоит такая девушка, очень гламурная, очень-очень, и она — вампир. Но она добрая вампир, как в фильме «Сумерки. Сага. Рассвет». И она поет и плачет черными слезами, и мы вдруг видим, тошто везде проступает кровь, и потом с неба вдруг слетает что-то бело-золотое. И тогда хочется плакать, даже если никто тебя и не обидел. Я даже, когда засыпаю, представляю себе этот клип с музыкой.

И вроде я ее действительно слышала не в торговом центре, а где-то еще.

И вдруг мы с Лизкой услышали, как ключ поворачивается в замке.

И на пороге появилась тетя Лена.

— Девочки, здравствуйте! — весело сказала она. — А я приехала пораньше, потому что сразу после турнира оказалось свободное местечко в дневном «Сапсанчике», и я быстренько поменяла билеты и примчалась к вам! О, да вы тут без меня Баха слушаете?! Здорово!

— Это Анжелика попросила поставить! — сказала Лизка гордо. — Сама прям подошла и попросила.

Детдом

Тетя Лена, кажется, удивилась. И еще мне почему-то показалось... Но, во-первых, показалось, а во-вторых, только на малюсенькую секундочку.

И потом она сказала:

— Окей! — и заржала, как обычно она ржет. — Кофе-то будете?

*Seufzer, Tränen, Kummer, Not,
Ängstlichs Sehnen, Furcht und Tod
Nagen mein beklemmtes Herz,
Ich empfinde Jammer, Schmerz*.*

* Воздыханья, слезы, нужда и печаль,
смущенье и тоска, страх и смерть
гнетут мое стесненное сердце;
вкушаю я горе и скорбь.
(Ария из кантаты И.-С. Баха № 21)

5. Чаша

Я Риту по пятницам в бассейн вожу. Рита — это моя племянница, ей десять. Я рядом с бассейном живу, а брат — в двадцати минутах. В остальные дни жена брата Риту водит, а по пятницам — я. Папа в это время с Костиком сидит, а я сижу в раздевалке.

Занятие длится полтора часа: полчаса в зале и час в чаше. Пока Рита плавает, я рисую наброски: родителей, бабушек, нянь, тренеров, мальчишек и девчонок. Детей рисовать труднее всего, потому что они все время вертятся. Постоянно получается так, что у меня на бумаге четыре ноги и три руки. Но если подумать, это ведь правда: когда мы сидим, у нас ног две, а когда бежим — двенадцать.

Когда я рисую, никто меня не замечает, потому что очень много народу тут сидит. Например, вон та женщина в фиолетовом свитере даже не догадывается, что я сейчас ее рисую. Я рисую свитер,

очки, завивку, нос, глаза, колено, ботинок, пальцы и гаджет, а она меня не замечает. А дети из предыдущей группы бегают, шумят, одеваются и раздеваются, сушат волосы, собирают рюкзаки.

* * *

А вон стоит Денис Валерьевич, тренер по плаванию и по многоборью, в белых кроссовках, молодой, загорелый, мускулистый, в майке и со свистком. Я его много раз уже нарисовала. Он всегда нарядный, белый, как супергерой. Он на десять лет меня младше. Не знаю, смогла бы я в него влюбиться? Наверное, нет. Уж слишком он мускулистый. К тому же у него уже есть девушка. Это Лена, тренер Риты. Она смешливая и вообще клевая. Но Лену я ни разу не рисовала! Потому что, когда Лена выходит, Рита уже одета и нам тоже пора.

Рядом с Денисом Валерьевичем стоит мама мальчика Алеши, измученная уборщица лет сорока с высшим музыкальным образованием. Однажды я разговорилась с ней и узнала про их жизнь многое. Эта тетенька воспитывает Алешу одна, и она его буквально боготворит. Она считает Алешу жутко талантливым, даже гениальным. Может, так оно и есть, но мне было ужасно грустно ее слушать. Мне все время хотелось сказать: чем вам помочь? Но я, наверное, не могу ей помочь ничем, потому что главные ее беды — они даже не от ее бедности или положения, а от ее настроения и ха-

рактера. А тут сделать ничего нельзя, только посочувствовать, да и то — я не подруга ведь, и дружить с ней мне было бы трудно.

Вот она стоит перед тренером на цыпочках, худощавая, с пакетом, в элегантном потрепанном пиджаке, в клетчатой юбке и перекрученных колготках (я рисую), с длинной шеей, с длинным носом, с прекрасными блестящими глазами, со взбитым над головой облаком легких волос.

Денис Валерьевич ей такой, рассудительно: вы понимаете, он не тянет. Вечно у него болит что-нибудь. Если такой больной, лечиться надо. Ты, Алексей, сам реши: ты хочешь заниматься или нет? Если хочешь, будем штудировать далее. Если нет — до свиданья.

Алеша стоит рядом и молчит, выставив ногу чуть вперед. У него умное, несчастное и лживое лицо. Такое, как в старых фильмах у качественных злодеев или игроков: вытянутое, овальное и бледное. И махровые длинные ресницы. Это крупный мальчик. Однажды я видела их после занятий. Почему-то они не пошли домой сразу, а остались последними в пустом вестибюле (до выхода Ритиной группы оставался еще час). Алеша лежал на лавке, а мама держала его голову у себя на коленях, и Алешино лицо по временам напрягалось, как от мучительной боли, а изможденная мать гладила его мокрые кудри. Нет, не могу я их рисовать, очень уж они несчастные.

Предыдущая группа — это третьеклассники, девятилетки. Почти за всеми приходят родители. Но за одним мальчиком никогда никто не приходит, и я не знаю, как его зовут. Если не всматриваться, то кажется, что все дети выбегают стайкой и все со всеми разговаривают. Но с этим мальчиком никто не общается и никто ни разу не назвал его по имени. Он мельче других, и кажется, что ему лет пять, а не восемь и, уж конечно, не девять. У него мелкие черты лица, губы тонкие, а волосы густые и курчавые. Он носит вещи для бассейна в большой, старой, засаленной и порванной спортивной сумке, чуть ли не советских времен. Кроссовки у него тоже драные. Но предел всему — это куртка. Когда-то она была кожаной — наверное, с тех пор ее успели поносить трое или четверо мальчиков: кожа лопнула во многих местах и теперь висит ошметками. Это не просто бедность — это кричащая нищета, которая в наши дни кажется какой-то даже нелепой, невероятной. Вокруг мальчишки-сверстники в финских ветровках, не особенно дорогих, а самых обыкновенных; и девочки — тоже, как правило, в недорогих «нормальных» джинсах или в школьной форме, и обувь у них в меру поношенная, и рюкзачки дешевые, пестрые, с феечками; но у них все есть, и за ними приходят мамы — тоже разные, но приходят за всеми, а за кем не приходят — тем звонят, мол, где ты копаешься? — и белобрысая Светлана отвечает: ну мам, я сейчас, уже выхожу, — и, накинув пальто, берет свой само-

кат и выходит наружу (а осень, темнеет рано). И вот среди них — этот, вот такой; и его никто не видит, как будто он прозрачный, как будто его нет. Потому что нищета — дело незаметное. Ее как будто нет, и никто ничего не видит. И я не видела, пока однажды вдруг не наткнулась взглядом на его куртку. И мне стало почему-то очень стыдно, и я уже не могла спокойно рисовать.

С тех пор я каждую пятницу все жду, когда выйдет этот мальчик. Я каждый раз думаю, что, может быть, на этот раз за ним уже кто-нибудь пришел, или что вот выйдет он в компании своих друзей, смеясь, или что хотя бы... наденет какую-нибудь другую куртку. Но нет, все каждый раз так же.

* * *

Вообще у нас весь бассейн довольно-таки бедный, обшарпанный какой-то. Я-то знаю, ведь я внутри была. Мне вообще-то бассейн показан, потому что я хоть и типа «молодая еще», но спина после аварии и лишний вес из-за таблеток. Но я плавала только с Костиком, когда он маленький был. Тут группа была, мама и малыш. И когда я сюда ходила, то все время вспоминала, как сама ходила в бассейн школьницей, четверть века назад. Тот наш бассейн примерно такой и был: с почерневшей разбитой плиткой, и в душе вода хлещет то кипятком, то ледяная.

В Ритиной группе есть девочка Даша, которая живет на Ветеранов. И мама с двумя маленькими

братьями за ней каждый день ездит на триста шестой из конца в конец. Иногда я рисую этих детей и думаю о том, как они путешествуют каждый день. Непохоже, чтобы им было трудно; скорее, им нравится, хотя если подумать, то это как будто жутко тяжело — ездить туда-сюда через весь город за старшей сестрой.

Я ничего не понимаю в этой жизни: кому должно быть трудно, кому легко. Иногда у человека жизнь тяжелая, а он счастлив. А некоторые мамы тут нервничают, кричат на детей, а как рот откроют, так сразу слышно, что их проблемы — фигня.

Вы, наверное, думаете, что я, как бабка старая, за всеми подслушиваю. Так ведь сидишь и слышишь, что поделать. Но я не сплетничаю и вообще не вмешиваюсь, рисую только.

Лишь один раз вмешалась.

Тут ведь какая есть вещь... Когда время подходит к девяти, охранник, который за стойкой сидит, включает телевизор и смотрит новости. А новости в наше время — ф-фу, уф-ф, ну... кошмар, в общем. И телевизор этот — плазма под потолком: хошь не хошь, все сразу туда глаза вставляют и смотрят. Я уж стараюсь сесть прямо под него, чтобы не видно было, но звук-то все равно. Наушники я не люблю.

И вот однажды две мамы начали обсуждать при мне эти новости. Причем одобрительно так. Да,

мол, давно пора прижучить этих хохлов, ну а США — пиндосов мы вообще бомбами закидаем, обратим в радиоактивный пепел.

Может, у меня в тот день настроение было какое-то, а может, что. Я встала, подошла к ним и сказала:

— Между прочим, я жду ребенка. И не собираюсь выслушивать этот агрессивный вздор. Мы, русские, за мир во всем мире.

Я-то сказала в том смысле, что я Риту жду, племянницу. А мамыши поняли так, что я беременная. Тем более что я полная, можно поверить, будто я в положении.

— Ой, — говорят, — простите! — и больше не стали войну обсуждать.

* * *

Иногда, чтобы нарисовать человека, мне достаточно пары ботинок. Когда дети уходят в чашу, они оставляют ботинки под скамейкой, и я гадаю, какому ребенку принадлежат те или другие ботинки. И часто ошибаюсь, очень часто. Оказывается, что стоптанные лакированные «лодочки» носит не девочка, а вообще высокий худой мальчик. А черные крутые кроссовки — девчонка, да притом с косичками, да еще и мелкая, как цыпленок.

А вон Ритины ботинки стоят. Они очень похожи на Риту. Рита здорово плавает, и тренер ее всегда хвалит. В списках-рейтингах Рита все время где-то в первой половинке, а однажды даже шестая приплыла. Тренер так говорит: «выплыла из получа-са», выражение такое.

Рита мечтает переплыть Гибралтар. А брат с женой все время обсуждают, не пора ли Рите закончить спортивную карьеру. Потому что надо английский и математику, надо в хорошую школу поступать, а плавание — это что? И меня это очень печалит, ведь плавать Рита любит, а английский — нет. А к математике равнодушна, хотя у нее пятерка. Но у меня нет права голоса. Родители Риту очень любят и знают, как ей лучше. Хотя эх!

Ведь плавать так здорово! И даже я, хотя совсем не спортсменка, — я очень люблю плавать! В воде вообще забываешь про свое тело, и оно радуется отдельно от унылой тебя. Лучше плавания только рисование, потому что, когда рисуешь, не только про тело, но и про всю себя забываешь, а это еще лучше.

* * *

Но все-таки про этого мальчика в драной куртке я никак не могу перестать думать. И, когда людей становится меньше, я подхожу к спискам их группы и гадаю, как его зовут. Все-таки ведь я не всех знаю по фамилиям. Может быть, надо подойти к тренеру и спросить. Или к кому-нибудь из детей.

И вот в позапрошлый раз я решила, что надо просто взять и подарить ему куртку, которую отдали Костику. Ведь Костик до нее еще не скоро дорастет, я ему и сама куплю. Может быть, этому куртка будет как раз, и он ее возьмет и будет носить. Поэтому в прошлый раз я принесла куртку и уже не могла спокойно рисовать, а все сидела и высматривала, где тот парень, но он не пришел, наверное, болел; а в этот раз я опять принесла куртку, но уже сижу более спокойно, хотя тоже очень волнуюсь, что не узнаю его, и пытаюсь найти его драные кроссовки под скамьями.

Но я никак не могу их найти, и, может быть, он в этот раз не придет опять, а может, он вообще перестал ходить.

Но волновалась я напрасно: он вышел. И не узнать его невозможно. Теперь я стала смотреть на него более пристально. Как будто рисую, только не рисую. У него на тощих предплечьях маленькие бицепсы, а шея у него как у настоящего пловца. Фигурой он похож на тренера Дениса. А лицо и впрямь несимпатичное, какое-то мелкое, невзрачное.

Чтобы его не пропустить, я встала и подошла к дверям. Мимо меня пробегали, топая, третьеклассники и шли родители с младшими детьми (многие приходили в бассейн по дороге из детского сада). И некоторые здоровались со мной. А тот пацанчик все копался и мешкал. Запихал в объе-

мистую сумку свои мокрые шмотки, криво натянул шапчонку (подобие капора с дыркой для лица), вдел ноги в растоптанные кроссы, а руки — в рукава своей ужасной куртки, но уходить не спешил. Прошаркал по вестибюлю, уже полупустому, к сводной таблице рекордов и нацелился на нее прищуренным глазом.

И я вдруг подумала: неужели за ним придет мама? Вот хорошо было бы!

Но пацанчик повернулся и не спеша подошел к другому стенду, где висели результаты сдачи нормативов в их группе. Результаты висели высоко. Он встал ногами на скамейку, взялся руками за батарею и стал читать список. Двое, девчонка и мальчишка, заглянули ему за спину и явно обсудили его куртку; мальчишка дернул его за полу и что-то сказал.

Наконец, насладившись своими спортивными результатами, пацанчик спрыгнул со скамьи и вышел мимо меня на улицу.

— Эй! — окликнула я.

— Чего? — отозвался пацан неожиданно писклявым голосом.

— Смотри, у меня куртка тут лишняя, — сказала я. — А твоя, я смотрю, драная такая. Может, тебе эта куртка подойдет?

Пацан шарахнулся от меня, но убежать не стал. Я протянула куртку ему.

— Спасибо, — пискнул парень и взял.

Я поняла, что зря сомневалась: куртка подойдет. Такой мелкий, что в самый раз будет.

* * *

А в вестибюле уже совсем не осталось детей. Девочка Даша копалась дольше всех, но вот и она с мамой и двумя братьями пошла на свою полупустую триста шестую, где так уютно можно выпить чаю из термоса с засахаренным имбирем (я все это могу нарисовать когда-нибудь). И только рядом с розетками для фенов сидели еще чья-то мама и чья-то бабушка.

— Талантливый парень, — сказала бабушка, кивнув на выход. — Я смотрю, все время в первых строчках рейтинга. — И, оглянувшись, понизила голос: — А это правда, что у него мать убили?

Мамаша-собеседница несколько раз покивала. Меня они не замечали.

— Отчим, говорят. С приятелем. Забил насмерть в ванной. Пьяная драка. Ну, там и мать была такая, что неудивительно.

— А-а, — покивала бабушка.

Детдом

Обе оживленно помолчали. Печальный факт явно будоражил их воображение.

— А кто ж его воспитывает? — помолчав, спросила бабка.

— Это уж я не знаю, — охотно откликнулась мамаша.

И они замолчали снова. Если бы они знали что-то еще, то наверняка обсудили бы. Но фактов у них больше не было. Между тем охранник завел свою плазменную бандуру с радиоактивным пеплумом, и обе уставились туда, а я принялась рисовать их застывшие лица. Начали выходить по двое, по трое Ритины одноклассники, и голосок самой Риты я уже слышала из раздевалки.

6. Женя

Женя выскакивает из триста шестой, ждет, пока она проедет, перебегает Исаакиевскую площадь поперек и приходит в рекламное агентство «Рефлекс» раньше всех. Снимает дверь с сигнализации. Проходит по комнатам и включает везде свет. Встречает Регину, Маркова и клиентов, варит им кофе, приносит в переговорку. Принимает заказанные подарки — скоро большой бал. Заказывает билеты на самолет в Италию для Регины и Маркова. Ищет козленка для рекламы детских центров. Принимает звонки, отправляет факсы, переписывается в чате, обновляет соцсети агентства, вывешивает новости на сайт. Вызванивает Стаса: у него встреча, а мальчик дрыхнет. Бронирует гостиницу. Бегает на почту. Снова варит кофе, теперь уже Регине. Решает проблемы с размещением у одного из клиентов. Украшает офис к годовщине основания фирмы. До обеда еще далеко, а Женя успела переделать кучу дел.

Регина не может обходиться без Жени. Часто Регина кричит на Женю и сразу извиняется. Женя к этому привыкла. Она и менеджер, и секретарь, и заместитель, и продажник. Рекламное агентство «Рефлекс» держится на Жене, как на единственном гвозде.

* * *

Говорят, Регина капризная. Неправда, это не капризы. Потому что капризы — это несправедливые требования. А у Регины все требования справедливые. В них есть внутренняя логика. Просто мало кто живет так, как Регина. Ведь она сочиняет даже во сне. Даже под душем. Ее день плотно упакован. В ее небольшой сумочке помещается целый мир. Регина получила три высших образования: она балерина, физик и филолог. Говорят, стремиться к совершенству вредно. Неправда: вредно стремиться и не достигать его.

До Жени у Регины сменилось семь секретарей. И ни при одной дела не шли нормально. Регина орала на тех девушек и кидалась стульями. Женя пришла в «Рефлекс» в двадцать лет. Предшественница отговаривала от собеседования и рассказывала про Регину страшилки: Регина снобка, Регине не угодить, дьявол носит «Прада». Рассказала, что Регина нанимает только секретарей с филологическим образованием и большим культурным багажом, чтобы знали, кто греческий бог, а кто остров или, там, какой-нибудь Монферран. Женя

ничего этого не знала. Образование у нее было весьма среднее. Семи лет ее взяли из детского дома, в восемнадцать — с чистым сердцем проводили в квартиру, которую опекаемым выдает государство, в маленьком полуразрушенном доме на окраине. Два года Женя работала барменом и для души учила французский. И вот (знакомые знакомых) пришла на собеседование к Регине.

— Откуда вы, товарищи? — спросила Регина у Жени.

Женя не поймала Некрасова.

— Не знаю, — ответила она. — Родители мои неизвестны. До семи лет я была в детдоме, но совсем ничего не помню. Потом меня воспитывали приемные родители. Здесь, в Питере.

Регина участливо кивнула и задала второй вопрос: служить бы рад?

Но Женя и Грибоедова не поймала. Она вообще плохо знала школьную программу. Круг ее чтения не был обширен. Она была другой человек. В том ровно так же не было ее заслуги, как и Регининой вины в Регинином интеллектуальном снобизме.

— Простите, я не поняла вопроса, — ответила Женя.

Регина вздохнула, отпила кофе и задумалась.

— А кстати, кофе — какого рода? — поинтересовалась она.

Женя ответила: родина кофе — Бразилия и арабские страны. И смущенно улыбнулась. Она многое знала про кофе, но стеснялась сказать.

Регина взъерошила свои тогда еще черные волосы и обратила внимание на то, что у Жени они тоже черные и взъерошенные.

* * *

Так вот оно и пошло, и шло уже семь лет. Регина никогда не кидалась в Женю стульями. Марков выдал Жене льготный беспроцентный кредит на образование. Женя закончила вечернее отделение филфака, и теперь она знала, кто остров, кто бог, а кто Монферран, и Регина и Марков даже иногда брали у нее уроки французского. Но сидишь вот так вечером, дела все переделаны... а Регина о тебе будто и позабыла... а потом вдруг выходит с зонтиком, в своих сине-белых альпийских кружевах и с янтарной брошью: ах, Женя, а ты что, еще сидишь? А я думала, ты уже ушла! Но ведь другой раз уйдешь, а на следующий день слышишь... не упрек, боже упаси... добродушное замечание.

И Женя лучше посидит дольше.

Ведь бизнес есть бизнес, даже когда его ведут Марков и Регина. Женя знает им цену. Их доброте, ко-

торую ни разу не приходилось подвергать испытанию. Она чувствует, что все это имеет предел, горизонт; вся эта милая благотворительность, вроде кредита на образование, который Женя уже выплатила; или та история... когда...

О, они *неплохие* люди, *незлые*, но вот что можно сказать точно: они не делают зла не потому, что другому человеку плохо, а потому, что *им* было бы это неудобно. А значит, все однажды может измениться. У Жени нет доказательств, но она чует нутром, подозревает: гарантий нет. Да и могут ли существовать такие гарантии? Не лучше ли, чтобы все оставалось на своих местах, тем более что всех это устраивает: и Регину, и Женю, и Маркова, который не может нарадоваться на Женю, но вряд ли полностью отдает себе отчет, насколько все они от нее зависимы.

* * *

Женя обычно приходит домой около полуночи. Выходит гулять с собакой на трамвайные рельсы. Вокруг пространство утоптанное, изодранное, измордованное, замусоренное; киоски, низкие желтые домишки, станция среди граблей-деревьев, небоскребы, ночное подсвеченное небо, оранжевое в бурых пятнах. Ветер носит мусор. Пахнет водой, лесом. Холодно. Мокрые трамвайные рельсы протяжно блестя в свете фонарей.

Очень уж тяжелая была зима. Особенно заснеженные огромные дворы, через которые, переставляя

ноги, бредешь к остановке. Особенно триста шестая маршрутка: поминутно открывается дверь и потоки ледяного воздуха обдают тебя. Остается одна раздражительность. Раздражает все. Все, что видишь по дороге, и все, что на тебе надето. Прямо чувствуешь всем телом: неудобно и неуютно. Как в детстве. Приемная мама не могла хорошо одевать Женю, и Женя вечно мерзла, одергивала и поправляла что-то. Кормили Женю тоже скудно и невкусно, в основном картошкой. Кухня была пустая, но тесная, у единственной табуретки не хватало ноги, форточка не закрывалась. А еще они постоянно ссорились. Женя грубила, бунтовала, не проявляла благодарности. Мать говорила, что хотела совсем не такую, а какую-нибудь другую девочку, ведь с этой одни мучения. Иногда Женя просилась обратно в детдом, хотя не помнила, как была там — вообще ничего не помнила, совсем. Но мама не отдавала ее обратно. По ее словам, она должна была сделать из Жени человека. У нее хорошо получалось, но ей казалось, что получается плохо.

Только недавно, уже после смерти приемной мамы, Женя поняла, что на самом деле любовь у них была, просто очень уж трудно им было друг с другом.

* * *

У Жени выдалась тяжелая зима, но она знает, что весной будет хуже.

Дело в том, что каждую весну к Жене приходит другая Женя, и это очень страшно. Страх сначала

подспудный, гудит тихо, в отдалении. Показывается где-то в конце улицы. А потом, нагло, отвратительно ухмыляясь, выходит навстречу.

В этом году Женя настигает Женю на Стачек. Черные и сверкающие окна сталинских домов. Потoki транспорта. Озера витрин отражают и переворачивают полдень. Грохот и дым.

И вот навстречу Жене выходит другая Женя. Вульгарно покрашенная, с махровыми ресницами, в подозрительных старых туфлях с оторванным ремешком, в махровой юбке, всклокоченная и свои ключья полившая вдобавок лаком экстраштарк. Женя, уставившись на Женю, отвратительно улыбается, и ее жизнь входит в Женю во всей полноте мерзости. Вместо квартиры у нее логово, заваленное тряпьем; она смрадная проститутка и наркоманка, на лбу — пятна и кровоподтеки, ноги в узлах и дырах. Но самое ужасное — ее дети. У той Жени есть дети, много, и все они в доме ребенка и в детдоме, от всех она отказалась. Женя ощупывает себя, она хотела бы выскочить наружу, но неоткуда. Она не может понять, в какой стороне ее дом. Она садится на обочину тротуара. Страх переполняет и растворяет ее. Она не чувствует холода и тепла; своих рук и ног. Лихорадочно, в поисках какой-то опоры, смотрит на плитку под ногами, но спасения нет, остались одни обрывки мира: вот сейчас отодвинешь ногу, и не будет ее, и плитки не будет; останутся только тошнота, отвращение, ужас.

Потом в какой-то момент Женя понимает, что сидит на улице, на скамейке или на ступеньках. Греет солнце или холодно. Хочется пить. Женя ощущает тяжесть во всем теле. Прошло.

Безобразие, думает Женя, спускаясь по эскалатору. С этим пора завязывать. Как — неизвестно, но пора.

В метро женщина, продающая лейкопластырь, глядя на Женино ясное лицо, вдруг вскрикивает: — Что уставилась, кукла разряженная! Я продаю зрелым умным людям, а не пустым куклам!

И долго, зло ругается. Жене становится так стыдно, что приходится извиниться. У человека, может, горе, а я тут с улыбками.

* * *

Женя решает поехать к тому домику, где она жила до семи лет, и посмотреть на него: может, что-нибудь вспомнится. Она много думала, и ей начало казаться, что причина страха — именно в этом. Ведь я не знаю совсем ничего. Кто мои родители? Откуда я? Меня оставили в роддоме, или я попала в детский дом уже большой девочкой? Всего этого я уже точно никогда не узнаю. Точнее, я могу что-то выяснить, но факты и сведения ничего мне не скажут. Но, может быть, если прийти туда и посмотреть на те стены, я хотя бы вспомню, как я жила там. Может быть, мне это поможет.

И вот Женя едет.

Она подходит к домику по тихой улице, где обочины заросли крапивой и лопухами. На улице пусто. Десять часов вечера. Днем Женя работает, а приехать в выходной она не решилась, ведь во дворе домика могут быть дети, а она едет не к ним, а как бы к самой себе. Женя очень волнуется.

Вот и трехэтажное здание из серого кирпича с железной крышей. Двор большой и заросший. Сначала — глухая стена. Женя идет вдоль стены, потом вдоль забора из железных прутьев, по еле заметной тропинке в лопухах. Пахнет травой. Вдруг Женя видит, что один прут слегка отогнут. Обычно взрослому не пролезть в эту дырку, но Женя мала ростом и худа.

Так она оказывается во дворе. Подходит к песочнице. Песка в ней почти нет. Земля утоптанная, в буграх. Вот за кустами старый домик-пряник, в котором, наверное, Женя играла на прогулках, когда была девочкой. Вот картинки на стене: грибок, бабочка, муравей, пляшущие мышата. Старые картинки, но Женя ничего не вспоминает.

Дверь в торце здания бесшумно открывается, и Женя видит очень толстую пожилую женщину в халате и шлепанцах.

Чего ходим? — негромко спрашивает женщина.

Женя сначала хочет сказать «простите», повернуться и уйти. Но вдруг чувствует, что ее не прогоняют.

Здравствуйте! — говорит Женя так же негромко. — Я здесь когда-то жила. Пришла посмотреть, вдруг что-то вспомню.

Когда ты здесь жила? В каких годах? Я здесь давно работаю.

Женя отвечает.

Та-ак, — говорит женщина. — Погоди-ка. А тебя в семью взяли, так? Как тебя зовут? Женя... Ну да, наверное, я тебя помню...

* * *

Они пьют чай в подсобке, и женщина что-то рассказывает Жене, но та ничего не может вспомнить. Женя слушает эти рассказы, как будто говорят не про нее, а про другую девочку (может быть, про ту, которую хотела ее приемная мама). Впрочем, и рассказы эти смутны. Ну помнишь, как ты через перила перевесилась и упала? Или это не ты была? Постой, по-моему... Вика... или это тебя так и звали? Тебя мама приемная Женей назвала, или ты и раньше?... — Черт, столько лет прошло, я уже и не помню ничего... Ну вот платье у тебя было такое китайское... хотя это ты не можешь помнить, ты была совсем маленькая... Неужели вообще ничего? Ну хочешь... Знаешь... я тебя могу потихонь-

ку пустить посмотреть. Все спят уже, ты походишь, посмотришь со мной, и точно что-то вспомнится. У нас, правда, кое-где ремонт был, но не всюду... есть места, где ничего не изменилось с тех пор...

Они идут.

Тревога разлита повсюду в этом маленьком сонном доме. Очень тихая, очень скрытая тревога. Жене знакомо это чувство, да и вообще: что-то брезжит, что-то забрезжило еще в тех лопухах у забора. Может быть, и дырка тогда уже была. И рисунки на стенах, мышки и гриб. И качели. И даже эта лестница, которую недавно отремонтировали. Что-то зудит внутри, но вспомнить ничего не получается. Ни группы, ни столовка, ни дверь в кабинет директора, где маленькие окошки-квадратики наверху замазаны белой краской, ничего не говорят Жене.

Остаются туалеты. Туалет — самое характерное помещение во всех школах, больницах, домиках и домах. Женя крепко надеется на туалет. Но там как раз, на беду, все после ремонта. То есть, конечно, не на беду: между горшками — перегородки, потолок не обваливается, на стенах нет трещин, и даже пахнет больше суровой водой, чем кашками. Но для Жени это плохо. Теперь уж ей точно ничего не подобрать.

Женя медлит. Она опускается на корточки и осматривается. Шкафчики. Полотенца. Напротив — стена.

На потолке лампа — пыльный шар.

Что-то брезжит. Но это не воспоминания, а чувства. Станные, смутные, тяжелые.

Женя крутит головой, а руками осторожно водит по холодной плитке пола (плитка мелкая, рыжеватого цвета, шершавая, в трещинах). Она принюхивается.

Что-то брезжит, очень неясное.

Слышатся мелкие легкие шаги.

На пороге Светка, ей шесть лет. Она держит блюдце, а на блюдце — куски черного хлеба. Светка жует. Ее не любят в этом образцово-показательном домике. Она плачет, ходит по ночам и мешает всем спать, а днем громко ругается матом. Светка вся в синяках, бледная, майка ей мала.

Нянечка, шепотом ругая Светку, уводит ее в спальню, а Жене показывает дорогу назад. Дверь прикрой, я потом выйду и щеколду задвину.

* * *

В ту же ночь, но не в ночь, а под утро, Жене снится сон-воспоминание.

Берег неширокой реки. Камыши, яркая вода, ряска. Кругом песок, пучки травы, засохшие коровьи ле-

пешки. Место очень знакомое. Солнечный день. Женя сидит и сыпет из совка песок себе на ножку, а напротив нее — худой загорелый мальчик в выцветшей бело-голубой панаме, которая все время съезжает ему на глаза. Все это знакомо, очень-очень знакомо, и Женя даже знает, что будет дальше. Это как сильнейшее дежавю. А вот и арбузные корки! И мухи на них! Громко играет радио. И такой знакомый ствол дерева, и мамины жилистые руки, а на руке — золотая тонкая цепочка. Одурачивающий резкий запах. Хохот взрослых с берега. Женя у мамы в руках, и с плеском и смехом мама прыгает с ней в воде: баба сеяла горох! Прыг-скок! Прыг-скок! Обвалился потолок! Прыг-скок! Прыг-скок! Близко-близко мамино худое лицо, дочерна загорелая шея и грудь, лямка купальника, знакомый рот, в котором один зуб золотой, а рядышком — дырка, ее лицо в каплях, и прохладная вода плещет на Женю так приятно и смешно, а кругом пузыри, ряска и блестящая вода.

И этот сон, а может, полусон уходит постепенно, так что Женя начинает чувствовать, что лежит на своей кровати и приходит в себя. Сегодняшний день постепенно возвращается к ней, но комната еще долго, несколько минут, кажется совсем незнакомой, как будто все вещи в ней переставили. Женя садится в постели. Не зажигая света, проходит на кухню и ставит чайник. Она понимает, что ее переживание хоть и сильнейшее, но не навсегда, что оно пройдет, и хочет подольше его продлить. В эту минуту Женя чувствует, что между прошлым и настоящим есть дырка, в которую Женя

смогла пролезть — туда и обратно. А еще Женя думает: интересно, как меня звали на самом деле? Но этого уже не узнать.

* * *

Без пяти три приходит клиент, которого в агентстве за глаза называют Кокаинист. У него растопыренные глаза и вечно розоватые ноздри. Он никогда не слушает, что ему говорят, и всегда держится в профиль.

— Нет-нет, — Кокаинист. — Красный цвет совсем не подходит. Он символизирует огонь. Тем более треугольник... Он напоминает топор.

— Хорошо, а серый круг? — предлагает Женя.

— Нет-нет! — Кокаинист вцепляется в спинку стула. — Это же почти дисковая пила! Вы хотите, чтобы нас привлекли к ответственности за браконьерство?!

— Это совсем не такой серый цвет, — уговаривает Женя. — Это правильный, добрый серый цвет. Мы проводили бета-тестирование...

* * *

На офисной кухне заходит разговор о сообщениях, которые посылались людьми из самолета, вревавшегося в Южную башню WTC в 2001 году.

Женя говорит, что ни за что не послала бы в такой момент никакого сообщения, потому что не хотела бы драматизировать «последние часы». Они для меня ничего не значат. Почему прощание должно быть важнее жизни и смерти? Почему надо «успеть сказать что-то»? Почему человек, обреченный смерти, должен тоже что-то говорить?

Но не успевает она произнести это мнение, как Регина заливается слезами. Она говорит о том, что не успела попрощаться со своим отцом и ей до сих пор, уже много лет, тяжело об этом вспоминать. Глядя на ее слезы, начинает плакать и Женя. Она просит у Регины прощения. Но Женя плачет не о себе — она только сочувствует Регине.

* * *

Женя едет с работы. Она сидит прикрыв глаза и мечтает: вот бы угнать трамвай. И чтобы он шел без пересадок от дома до работы. Трамвай мечты. Там все бедненько и чистенько. Там стены покрашены ярко-голубой масляной краской. Он ярко дребезжит и хрустит, искрит и гроыхает. И в этом трамвае у меня есть свое место, куда никто никогда не встает. В самом хвосте трамвая. Рядом с размытым стеклом, на котором ключами накарябали какие-то буквы. И вдаль убегает тропинка железных рельсов. И мой трамвай, мой блестящий и трескучий, в полосах ветра и тока, шел бы себе, покачиваясь, через весь город. И он ехал бы долго-долго...

Детдом

Женя открывает глаза и видит, что она совсем не в трамвае, а в метро.

Вагон полупустой. Дует подземный ветерок.

Сидит на лавке напротив. В руке — банка «Ягуара».

Волосы как пакля. Провал рта.

Сердце у Жени колотится. Она примерзла к сиденью. Но больше не умирает. Может смотреть, наблюдать. Может заплакать, если захочет.

Поезд с грохотом влетает на станцию. Женя встает и пробирается к дверям. Вдруг ей вспоминается та девочка в детском доме, с хлебушком на блюде.

Как ее зовут? Света вроде.

Дурдом

7. Чувачки

да сонц
да зай
нет еще нет
да ничего нового
неа

это моя девушка ну как девушка
бывшая девушка так сказать
звучит как-то двусмысленно, «бывшая девушка»
я имел в виду, бывшая «моя» девушка (в кавычках)
мы с ней в хороших отношениях
это очень круто на самом деле очень ценю

ну как? Обыкновенно все началось, у многих так
мы с ней курили, ну как, покуривали
раз в три дня примерно
никогда не думал, что от этого что-то может
и никаких таких не было звончков, ничего
в один прекрасный день просто увидел этих чувачков

их было шесть, вот представь, как из бумаги чело-
вечков делают
ну взявшихся... это... за руки
только мои были не белые, а черные. И побольше.
один где-то мне по колено
а другие меньше, меньше, еще меньше
вот так

не, они были нестрашные, ну то есть...
как не страшные...
в смысле, что вначале они были вообще никакие!
просто я их вижу и понимаю, что их нет
разглядываю, интересно мне
а они идут за мной по асфальту, цепочкой
и обугливаются
становятся как такие негритята
а потом уже когда они меня стали преследовать
тогда мне стало становиться плохо
стал вкус такой во рту не знаю как описать
вроде как-то то ли тошнит и не могу уже их видеть
какое-то вот чувство то что не могу уже
как будто голову разрывает изнутри
куда ни повернешься, а они опять
вот это стало очень... эм-м... скажем так мучитель-
но
нет, я уже не курил, я просто так их видел
пытался привыкнуть к ним они ж ничего не дела-
ют
ничего мне не сделали
просто идут и идут и никогда никуда не доходят
вот в этом все и было самое неприятное
от этого голова и

Дурдом

вот это чувство как будто все сейчас уже не выдержишь
но ничего не происходит
и так днями, все время, закроешь глаза то же самое,
они никуда не деваются
идут чуть-чуть сбоку и никогда не доходят
честно — жуть
и я стал конечно такой нервный дерганый
да что там дерганый станешь там
совсем никакой делать ничего невозможно
не спишь почти все силы уходят на чувачков
я их называл чувачки
сначала
а потом уже никак не называл

девушка знала?

да
она лечиться меня и уговорила
пришел дали мне таблетки стал их пить
потому что не было уже никаких сил
психиатр мне попался хороший
(яков эммануилович его зовут
если читаете меня — вы мне очень помогли
спасибо)

и вот это было весной кажется в феврале или
в марте
а в мае я уже
уже совсем пошло поехало
чувачки опять и еще одна корка появилась хуже

Ксения Букша. ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ

сiju и вижу себя с затылка
все время
и главное вот это не рассказать — что выскочить
хочется
все время чувство было, что хочется, ну, выско-
чить
куда? Из себя, не знаю, даже не знаю, как ска-
зать-то
внутри все так распирает, в голове и в теле, везде
хочется заорать и выскочить из себя
а невозможно

а я просто стал забывать их пить
и мы стали курить опять
это же забываешь быстро сразу
и потом я чувствовал себя довольно плохо с табле-
ток
там раздражительность, пятна на лице, секса не
хочется
сейчас-то я уже опытный
короче я подумал что это как грипп
ну прошло и все, прошло

и вот такое наступило состояние
ничего делать невозможно

девушка моя она маникюр делала
а я работал в Максидоме
смешивал краски на автомате

получается, вы оба с разноцветным работали,
с красками

Дурдом

с разноцветным, в смысле?
а, точно, да

у нас раньше дверь не закрывалась всегда гости
как-то так получилось все друзья рядом жили
в пределах там квартала двух
все время дома был народ

еще у меня была машинка
любил машинку свою
купил ведро с гайками и гонял на нем

ну че, сонц
зай
через полчасика перезвоню ладно

да
и она вот говорит однажды ночью я не спал
сидит на корточках
мне страшно с тобой в одном доме находиться
вот такие крупные слезы
вот такие выкатываются
ну я — страшно и страшно
ладно
вот это все тут бетонное, серое — да?
это забор бетонный, оградка
это можно сделать как только захочу
вот балкон, вот выход, все
я совершенно спокойно об этом говорю именно
потому
что я не хочу сейчас пока
я не до такой степени страдаю

вообще я пофигист наверно по жизни
ну что девушка ушла диагноз и так далее
фарму всю эту принимать надо и прочее
ну я всегда пофигист был — мне что
лежу себе вот на покрывале как всегда лежал
часы тикают потолок при мне
можно и свет даже не включать
мне хорошо так
и на хуй я посылаю всех кто скажет что я не живу
я живу как вам и не снилось, я могу за сосисками
сходить и колой
магазин благо в нашем доме
на триста шестой до метро могу доехать, если за-
хочу
но я не хочу — на хрен мне в метро
у меня нет желаний, нет, я...
мне посрать что думают обо мне там люди
я могу хоть весь день так пролежать хоть всю
жизнь
и телевизора мне не надо
захочу — вон балкон до него три шага, но это если
захочу
вот по ковру по вот этому вот
только какая разница живу я или нет
поэтому я живу

и ты знаешь что я думаю
я думаю, что эти чувачки — они все равно есть
таблетки их не уничтожают
а только убирают подальше, ну, за пределы взгляда
куда-то туда, ну, назад
ведь у нас же зрение — не круговой обзор, так?

Дурдом

и они благодаря таблеткам просто отходят подальше, туда
таблетки им как бы говорят — эй, хватит, ребята,
этого больше не надо беспокоить
и они такие — да, понимаем, слушаемся
и отходят

но они там все равно есть
только они теперь прямо за мной, совсем, за спиной
и я думаю — может, зря
может, надо было наоборот сделать как-то так,
чтобы они вышли мне навстречу
чтобы я мог посмотреть им в лицо

типа эй, кто вы такие, чувачки
а я зассал

но может, когда-нибудь это еще и получится
поэтому я и живу

я жду

8. Ключ внутри

Осенний ветер ломает ветки, вычесывает из тополей высохшую, намокшую листву. Пятиэтажки отекли, подъезды вывернуты наружу. У стекляшки-лабаза земля залита водой; дети в грязных куртках курят, сидя на железных перилах. Все мокрое: зелень и бурьян, прутья от цветов в загородках, ярко-желтые несчастные клены. Земля в бурых, клейких и черно-прозрачных пятнах, то там видно небо, то виден ты сам, а то совсем ничего не видно.

Петя Ковальский жмет на кнопку звонка. Лязгает о дверь жестяным почтовым ящиком. Кричит:
— Лев Наумович!

Тишина. Петя дергает дверь на себя, и она отворяется. Профессор стоит в коридоре, заложив руки за спину.

— Здравствуйте, Лев Наумович! — говорит Петя Ковальский. — А вы слышали, как я стучал?

— Слышал, — буднично и гостеприимно отвечает профессор. — Так ведь... открыто. Вам что, кофе?

— Давайте.

Мешок кофейных зерен в кладовке — ежегодный подарок учеников. Больше ничего не разрешает приносить. Ни в каких иных потребностях не замечен; не признаётся ни в каких нуждах и слабостях. А вот кофе да, без кофе не могу, кофе и есть математика.

Профессор заваривает кофе так, как он всегда его заваривает. Отточена каждая мелочь. Белые небольшие руки висают над банкой с зёрнами; над кофемолкой. Руки слегка ходят, но он давно приоровился к этим флуктуациям, умея направить их движение так, чтобы они то ли точно, то ли случайно отмеряли ровное количество зерен, включали кофемолку, высыпали кофе в джезву, через определенное время снимали, вливали бурый огонь в чашку, подносили ко рту. Руки блуждают, в итоге приходя, куда им следует, — так-то вот и мы, так наша мысль.

А Петя свои руки сцепил на столе, нахохлился, глядя на профессора, который стоит перед ним, облокотившись на стол, глядя на Петю добродушно и равнодушно. Петя чует задом дыру в единственном на всю квартиру табурете. Профессор живет на шесть рублей в день. Собственно, он уже десять лет не профессор. Ушел в докторский отпуск, да так из него и не вернулся. Не выдержала

жена, забрала с собой и дочь, реже и реже заходят ученики. В свои сорок восемь профессор выглядит на шестьдесят пять. Пустота растет вокруг Льва Наумовича. Он как бы, помалкивая, правит в открытое море: без чего еще можно обойтись?

— Без чего я не могу? — переспрашивает профессор. — Ну... без кофе вот не могу, — сидит на подоконнике, положив ногу на ногу, глядя вверх Пети. — Ну... без работы своей не могу. Другое дело, что моя работа... понимаете, она не в формате... — профессор замолкает и задумывается, попивая кофе.

Подослали Петю Ковальского, уговаривают прочитать цикл публичных лекций. До чего-то ведь он дошел, так сидя; Петя даже уверен, что до действительно впечатляющих вещей. Так пусть расскажет; двести рублей за вход, нам же интересно. Лев Наумович кивает: ну, хорошо, да, да.

— Только, пожалуйста! — умоляет Петя. — Не подводите вы нас. Ну, пожалуйста.

— Да, да, — кивает Лев Наумович, делая вид, что услышал и понял. Им больше ничего и не надо. Сделаешь вид — отстанут. Да, да, так, конечно, лучше.

Проводив Петю, профессор медлит некоторое время в коридоре. В последнее время стал иногда зависать. Мысль фиксируется на чем-то одном,

углубляется, сама собою доходя до предела. Как чувство — это приятно; как функция — не всегда плодотворно; неизбежно ли это, или такие свойства приобретает ум ввиду привычки к сопоставлению далеких друг от друга предметов?

Думая так, Лев Наумович усаживается, скрестив ноги, на матрац, кладет на колени книгу, сверху — лист бумаги. Вот, подослали Петю; и зачем им все это — непонятно. А впрочем, если они действительно этого хотят, если им и вправду интересно, то он им, конечно, расскажет, — так думает Лев Наумович и продолжает работу.

* * *

Он расскажет им, если они и вправду хотят слушать, о том, что вероятность события больше не играет роли. Только *impact* — возможное влияние события на другие события. Это как дикари у Юнга. Они не знают, что означает появление муравьеда днем; привыкли видеть его ночью, принимают это как незывблемое. Теперь если он днем, то возможно все, считают они; и это их великая мудрость — учитывать свой уровень знания о мире. Дикарей, писал Юнг, не интересуют законы. Их интересуют погрешности, поскольку именно они могут быть предвестниками катастроф; собственно, самими катастрофами в начальной стадии; началом великих и ужасных событий. Но какова будет величина катастрофы? Дикари справедливо не задаются этим вопросом.

Их инстинкт говорит, что они просто не могут себе представить этой величины — настолько она огромна. Дикари невежественны, они не знают многих простых вещей, но ведь по сути они правы. И мы не можем помыслить законов, которые настолько больше нас и нашей жизни, что приходится принимать их «как данность». Краткое время — с восемнадцатого века по середину двадцатого — человечество могло обманывать себя иллюзией «положительных знаний», попытками учета рисков и т. д. Но теперь мы ясно видим, что вокруг нас джунгли. Что флуктуации, говоря языком финансов, сильнее, чем тренд, что они этот тренд размывают. Правила слабее исключений. Мы действительно не знаем, что может случиться; ни размах колебаний, ни их частота непредсказуемы и в принципе неопишуемы теориями. Как себя вести, как принимать решения? У Льва Наумовича есть ответ. Математика дала ему вывод, точный и страшный. Никому бы не посоветовал Лев Наумович прийти к таким выводам. Никому не стал бы по собственной воле рассказывать, к чему привела его математика, к чему, так сказать, за ручку подвела и куда заставила заглянуть.

Но они хотят его слушать. Хотят — пожалуйста. Он им расскажет. Безусловно, в чтении лекций есть определенное удовольствие. Писать мелом на доске, хотя они сейчас пишут не мелом, а этим... черным таким фломастером... все равно приятно. Чувствовать, как тебя слушают люди, по их вопро-

сам понимать, что их мысль работает в унисон или контрапунктом к его собственной мысли.

Впрочем, это, конечно, иллюзия. Никакого такого единства быть не может. Мысль нельзя передать таким образом. И чем дольше Лев Наумович живет один, тем четче он понимает: мысль нельзя...

* * *

Хоть он и живет один, но он живет не один. Его район застроен пятиэтажками. Между домами — джунгли дворов. Сейчас осень, всюду желто-красные листья, высохнут — шуршат, намокнут — липнут. Микрорайоны отделены друг от друга серыми улицами, широкими проспектами. Расставлены светофоры. Лев Наумович гуляет быстро, заложив руки за спину. Его не то чтобы «считают» — некому в его районе, кроме него, собственно, «считать», все живут поодиночке и почти не дают себе труда рассуждать. Все же первая мысль, возникающая и у подростка, гуляющего с собакой, и у старой женщины, замешкавшейся с зонтиком вод фонарем, — «а-а, снова этот сам себя выгуливает». Этот — в шапчонке, старой короткой куртке, длинноногий, в облезлых ботинках, без какой бы то ни было собаки, сумки, без чего бы то ни было прочного, наклоняясь вперед, опираясь на воздух, на ветер, изморось, собственную тень.

И вот он шагает, стремится. Флуктуации, шатания его по городу тоже ведь как-то предопределены.

Возможно, есть даже и закон. Во всяком случае, не линейный: все тот же закон возможностей и случайностей, сродни той области математики, с которой он имеет дело. Когда на его пути встречается дорога, он либо поворачивает, либо пересекает ее и проходит прямо; из этих вариантов и складывается его путь каждый день. Вот во двory — во двory никогда он не заходит, это было бы уже слишком; в незнакомых дворах надо думать о покинутой дороге, а он гуляет не для того, чтобы о дороге думать, а чтобы дороги (и двory) думали сами, чтобы научить их думать при помощи своей мысли, чтобы обрести в них произвол, *отсутствие* какой бы то ни было необходимости и привязанности.

И вот он идет; ни разу еще не бывало так, чтобы он заблудился и был вынужден вернуться в реальность не по своей воле. Обычно так: завершается мысль — и тогда, подняв голову, он видит свой собственный дом, вернее, некую произвольно взятую пятиэтажку, одну из тех, с вывернутыми подъездами и битыми стекляшками, в которой (к примеру, на первом этаже) находится его квартира — точнее, одна из квартир, та, которой в данное время не соответствует никакой другой жилец, кроме него самого. Он бы мог, в знак этого, отпирать дверь ключом, но это не есть необходимо, к тому же и ключ он куда-то дел, так что он просто входит к себе в квартиру, и на этом символически, естественно, заканчивается поток свободных ассоциаций и начинается упорядоченная работа.

Обычно бывает так. Но сегодня происходит по-другому. Сегодня, подняв голову, он видит всю картину в несколько ином ракурсе. Дело в том, что дождь, который шел, еще когда он сам только вышел из дому, вдруг начал идти все сильнее и заполнил водой все дворы, все улицы и проспекты; Лев Наумович понимает, что вымок насквозь, и ему это нравится. Холодная вода лупит его по голове с той интенсивностью, с тем ритмом, которого ему не хватает уже несколько недель. Дождь разгоняет невнятное рассеяние, мешающий липкий туман; помогает сконцентрироваться.

Дождь хлещет по желтым мокрым кленам, ветер мотает фонари, машины мчатся по дороге, расплескивая воду. В торце одной из пятиэтажек находится малюсенький магазин, вернее, рюмочная на пять или семь мест. По сути это подпол, погреб, предусмотренный для жителей одной из квартир на первом этаже, но предприимчивая хозяйка сделала там точку, поставила телевизор и принимает ставки на спортивные состязания. Лев Наумович входит в крошечное помещение. Там — двое: хозяйка за прилавком и мужик на табурете, напряженно уставился в экран, рядом недопитое пиво.

— Здравствуйте, — говорит хозяйка.

— А-а, здравствуйте, — отвечает Лев Наумович, озираясь.

Мужик тянет его за рукав: отойди, мол, загораживаешь. Лев Наумович пятится. Смотрит на экран. Там по мерцающему зеленому полю рассыпаются красно-белые футболисты. Сейчас, знает Лев Наумович, будет крупный план: лицо футболиста, его пробежка, эмоция (непрерывно руки и лицо), потом — несколько кадров ускоренной съемки, которая выглядит со стороны как замедленная. В этих «замедленных» кадрах происходит следующее: футболист как бы преодолевает земное притяжение, создает, движениями рук и ног, иллюзию отсутствия верха и низа, вызывая головокружение у болельщиков и просто зрителей. Так, фиксируя некоторые значения и показывая их дискретно, мы лишаемся привязки к определенной системе координат. Из этого следует, что функция (вообще любая), пожалуй, имеет смысл только при наличии оси времени (в пространственном, «футбольном» случае невидимой). Или, вернее, время подразумевается...

— Брать что-нибудь будете?

— А? — вздрагивает Лев Наумович.

Хозяйка с интересом смотрит на него.

— Возьмите пятьдесят грамм, вы промокли совсем.

— Нет-нет, у меня нет денег. И я не пью.

— Я вам бесплатно налью, вы же воспаление легких можете схватить. Особенно если дома нечем согреться.

У нее выбеленные густые волосы, полное румяное лицо, быстрый взгляд и большая грудь. Она меня знает, думает Лев Наумович. Ему становится не по себе. Вечно его знают какие-то люди, о которых он сам ни сном ни духом. Видят его. Смотрят на него. Возможно, даже думают о нем что-то. Лев Наумович быстро мотает головой, отступает, невнятно прощается. Он идет через двор в смятении, а продавщица говорит болельщику: это из шестьдесят первого дома такой. Да, кивает болельщик. Знаю такого.

* * *

Дождь кончился, а ветер окреп, темнота сгустилась. Мокрая асфальтовая дорога, ведущая вдоль шоссе и стройки, неожиданно многолюдна: гуляют с колясками, едут на джипах, гудят, мигают поворотниками. Лев Наумович ускоряет шаг, он идет, не поднимая глаз, и даже не замечает, что в окне его кухни горит свет. Поднимается по лестенке, открывает дверь и чувствует запах духов.

Лев Наумович в смятении. Он топчется в прихожей, пытаясь собраться с мыслями. Надо бежать, но поздно. Жена выходит из кухни, видит его.

— Ты зачем пришла, — бормочет он без выражения. — Уйди, пожалуйста.

— Раздевайся! — говорит она. — Я тебе ужин приготовила. Ты же даже дверь не запер. Это же ужас,

как ты живешь. Тебе надо срочно... Хочешь, я тебя на работу устрою? Я найду тебе нормальную работу, так же невозможно жить. Я тебе честно могу сказать, я бы не пришла, но мне уже Ковальский звонит, говорит: вы его проведайте, с ним что-то делается. Что ты стоишь? Раздевайся! — она делает шаг вперед и развязывает шнурок на капюшоне его куртки.

— Не трогай меня, — бормочет Лев Наумович, отодвигаясь.

— Посмотри на себя! Тебя лечить надо!

— Какое, от чего... Лечить... что тут, вообще... сама ты лечись, если так хочется... Пожалуйста, отстань... Я не хочу, чтобы... Уйди. Пожалуйста. Мне работать надо...

— Работать! — кричит она. — Опомнись! Ты десять лет уже безработный! Ты думаешь, что ты вдали от академического сообщества можешь создать что-то действительно имеющее цену? Не общаясь ни с кем, в одиночестве? И кто это оценит? Ты хоть понимаешь... А! — она машет рукой, глядя на него. — Да ты не в курсе даже, может, кто-то это уже сделал, то, над чем ты сейчас трудишься!.. Лева, послушай... Мне не все равно, что с тобой будет. Я просто вижу, как ты год за годом, и все хуже ведь становится, со стороны виднее, все хуже, а что дальше будет...

Сейчас она съест меня, вдруг понимает Лев Наумович. Вперлась сюда... готовит. Эти вот запахи, которые действуют на пищеварение. Это все понятные механизмы. Она хочет меня съесть, не дать мне думать.

— Уходи, — повторяет он тихо, глядя в пол. — Уходи-уходи-уходи. У-хо-ди.

Он стоит, опустив глаза, и говорит так, и постепенно начинает чуть покачиваться, и все бормочет: уходи, уходи, — это успокаивает его, он не смотрит на жену, не видит, как она собирается, одевается, не слышит, что она говорит — чувствует только запах ее духов; она уходит, выметается наконец, а Лев Наумович еще некоторое время стоит, по-прежнему одетый, в прихожей, слегка покачивая головой в такт произошедшему. Только через пять или семь минут, опомнившись, он медленно раздевается, снимает ботинки и проходит на кухню.

На плите стоит кастрюля вареной картошки. Лев Наумович переставляет ее на стол. Потом идет в комнату, захватывает там листочек, ручку и усаживается, поджав ноги, на табурет с дыркой. Картошка дымится. Лев Наумович незаметно для себя понемногу ест картошку и пишет.

* * *

У Льва Наумовича нет часов, как нет и календаря. Ему нет нужды в том, чтобы узнавать время. Ведь

время существует вне зависимости от нашего знания о нем; значит, фиксировать часы и минуты — лишняя суета, которая, кроме всего прочего, принуждает нас делить жизнь на одно и другое (работу и развлечение, упражнение в известном и поиски неведомого). Попытки фиксации времени на самом деле лишь фиксируют относительно времени тебя самого. Впрочем, иногда получается так, что Лев Наумович случайно узнает о числе месяца или часа дня, и тогда эта цифра надолго остается в его памяти, становясь чем-то вроде ориентира. Вероятно, это привет из того прошлого, когда он еще изредка пользовался часами и календарем, недостаточно последовательно обходясь без них.

Итак, в какой-то определенный момент, — назвать ли его «десять тридцать», или «корова», или «какой-то определенный момент» — Лев Наумович заканчивает работу, откладывает листок в сторону и выключает свет.

Сначала в комнате совсем темно и тихо, но через пару минут темнота рассеивается, становится дырявой, прозрачной; да и тишина тоже. По косой входят в нее огни противоположной пятиэтажки, шум машин по мокрой трассе. Блестят, отсвечивая, листья клена: желтые сами по себе, они подсвечены случайными, небольшими источниками света с разных сторон; оттого они залиты разноцветной, сияющей желтизной и, полупрозрачные, и отражают, и пропускают свет. Клен действует как зеркало и как витраж, причем каждый

лист на ветру поворачивается и качается, и весь клен одновременно качается и клонится. Проекция клена, его тени, лучи на стене комнаты, в которой сидит на матрасе Лев Наумович, наводит профессора на мысли дополнительные, случайные, тревожные. Он знает, конечно, что так и должно быть: всякая новизна тревожит; но сегодня Льву Наумовичу просто не по себе. Конечно, это из-за посещений и беспокойств. Они, все они, раздергивают его, мешают думать. Одного Петю Ковальского или одну жену он бы еще выдержал, но оба сразу — это выводит из равновесия, не может не вывести. Совпадение, как ясно из слов жены, не случайное. Но вот интересно: почему именно сейчас? Означает ли это, что он близок? Означает ли, что вот-вот сведет воедино те дороги, которые так далеко увели его? Необязательно означает, но может означать. Нет вещей, которые бы ничего не значили. Более того: они все *только и значат*, в них, кроме знаков, больше ничего никогда не бывает; ведь этот мир на самом деле состоит (как сказал бы программист) лишь из иконок. Нажмешь на такую иконку — запустится программа, но самой программы в этом мире нет, она находится на другом уровне абстракции. Потому-то, чем ты преданнее отдаешься абстрагированию, тем более плоским, пустым и примитивным становится для тебя «этот», реальный, конкретный мир. Весь жар, весь огонь, все процессы и одушевление — там. Почему, кстати... это самое «там» кажется человеческому уму расположенным сверху?.. Власть условностей — или тоже закономер-

ность, основанная на существовании времени?..
Время... не дискретное... система координат... Лев
Наумович засыпает.

* * *

Он просыпается утром, не рано, но и не поздно.
Просыпается так, как любит. Сначала видит свет
сквозь размякшие за ночь веки. Потом слышит ти-
хие звуки дома: на втором этаже топают, вклю-
чили какой-то кухонный прибор. За стеной работает
телевизор. Во дворе машина отзывается на нажа-
тие кнопки электронного ключа.

Только спокойно. Спокойно.

Подольше удерживать в себе утреннее чувство рав-
новесия, пустоты. Иногда — удается на целый день.
Тогда день бывает удачным. А иногда — только
проснулся, и уже появляется целое облако посто-
ронних мыслей. Почти зримое. Оно состоит из
знаков, которые неконтролируемо складываются
в смыслы, целые фразы, уложенные не строчка-
ми, а комьями, слоями.

В последнее время чаще так, чем спокойно.

Поэтому он повторяет себе: спокойно, — стараясь
не помнить, не вспоминать ничего такого, что
могло бы разрушить утро.

Он идет в туалет, потом в ванную, чистит зубы; от-
туда отправляется на кухню. Сколько лишнего на

всех поверхностях, на всех плоскостях. Холодильник работает не так, как обычно, от тяжести внутри. В хлебнице полно хлеба, такого, какой он не ест. На плите еда, сковородка с мясом. Вчера он мяса не заметил, потому что насытился картошкой.

Между сковородкой и крышкой от сковородки вложена записка: «Лев Наумович, у вас сегодня лекция. Приходите, пожалуйста! Мы вас очень ждем. Нас много. Саша заберет вас прямо от подъезда на машине в шестнадцать тридцать. С уважением, Петя Ковальский».

Петя, значит, написал, а жена положила, чтобы на виду. Лев Наумович вздыхает и присаживается на подоконник. Он смущен. Ну вот что они? Пишут. Приходят. Разве не лучше было бы не писать и не приходить; не доставлять себе лишнего беспокойства? Ведь ему-то все равно, что с ними делается. Он им не пишет; не навещает. Зачем же он-то им сдался, в таком случае. Лев Наумович чувствует между тем, что в его рассуждениях чего-то недостает. Но чего? Он не разрешает себе рассуждать о таких беспокоящих вещах. Это не его дело, не его профессия. Так; они пишут, ходят; а он — нет; это несовпадение. У них свои резоны, вероятно, объяснимые, но лежащие вне пределов компетенции Льва Наумовича. Значит... — мысли его путаются, вернее, вильнув хвостиком, соскальзывают на более успокоительные и внутренние, его собственные рассуждения: всегда ли таковое несовпа-

дение, неравенство между... в разных системах исчисления... — но эта нестойкость логической цепочки вызывает в нем резкое беспокойство, и он решает все-таки додумать прежнюю мысль, несмотря на ее неудобство. Они ходят, а он нет. Они ходят, а он нет. А он нет. Неравенство? Или... частичное равенство. Нет: тождество, — вот остроумный ответ, приходит ему в голову, и он садится осторожно есть мясо, помня о том, что с непривычки к обильной пище может стать плохо, как один раз уже было в схожем случае.

Но они знают его. Знали, что он заглянет... и куда. Отвезут... Как это все скучно. Да просто — это люди. А ему не хочется. Все это тревожит Льва Наумовича, так что после завтрака он, даже не постояв у окна, как обычно это делает, прямо сразу усаживается на матрац и принимается за работу.

* * *

И он работает.

У него есть карандаш, который он отвязал от стойки в одном строительном супермаркете. После этого он долго размышлял о том, не является ли его поступок кражей в этическом или юридическом смысле, и пришел к выводу, что является лишь в этическом, так как все юридически предназначенные для кражи предметы помечены штрих-кодом. В этическом же смысле... тут мысль увела его в сторону соотношения математики и богословия, и одновременно (другой частью ума) он думал

о соотношении двух подмножеств предметов супермаркета — тех, что являлись бы украденными юридически, и тех, что могли считаться кражей в моральном плане. В первую категорию, между прочим, попадали не только товары, но и имущество покупателей и продавцов, и, к примеру, сам супермаркет как экономическая единица, его логотип и прочая собственность. При этом «юридическое» множество вовсе не являлось, как могло бы показаться, подмножеством «морального»... хотя большая часть первого действительно входила во второе, существовали вещи, которые могли считаться украденными юридически, но моральному осуждению не подлежали. (Вы можете сами привести примеры.) Так вот: белый круглый карандаш с полутвердым грифелем... Он работает; и Лев Наумович работает, пока карандаш не затупится, а потом он проводит по нему ножом, лежащим неподалеку, и работает снова. Между строками формул большие просветы, Лев Наумович не экономит бумагу; иногда он вертит карандаш в руках, редко-редко сует его в рот.

И здесь перед нами возникает важный вопрос. Если бы кто-нибудь из понимающих людей заглянул через плечо — что бы он подумал? В плане моральном и юридическом? Или — в математическом (являются ли предметы рассмотрения юриспруденции и морали подмножествами предметов, рассматриваемых математикой)? То, что он увидел бы, — являлось бы это прорывом или чепухой? Если бы заглянул профан — чепухой (хоть про-

фан и не признался бы, а стал бы правду врать про недостаточность своего понимания). Не знаешь язык — для тебя все это (есть такие слова старинные) белиберда, тарабарщина, абракадабра. А если знаешь? А точно ли знаешь? А — кто не профан? Кто способен оценить? Ну, это вопрос старинный, и он скорее теоретический; ведь оценили же мы всякие великие открытия, не нами сделанные; и они верны, и мы поняли это и хлопнули себя по лбу (человечество то есть): ба! Как же мы раньше-то...

А точно ли так?

Точно ли мы оценили их (открытия, то есть) верно?

Точно ли не переоценили и не недооценили кое-что, многое, все?

Точно ли сумели понять всех, кто пытался заставить мир что-то нам сказать?

Не огромное ли во много раз айсберг «неоцененных» открытий, которых мы просто понять не умели; ученых, которые не шаг вперед делали и не три шага, а... взлетали? Или исчезали сразу из виду, так что мы и забывали о них сразу же?

Лев Наумович, это вы думаете, или это уже мы? Подскажите нам, дайте ответ!

Не дает ответа. Только пишет. Мы должны расшифровать.

А что, если расшифровать способен только он сам?

И не потому, что написанное не имеет смысла.

Дурдом

И не потому, что ключ — в нем самом.
Просто потому, что он — первый, кто понял то,
что он понял; а второго за ним не будет.
Не суждено.

* * *

Дочка появилась, села рядом. Толстая, красивая.
От нее пахнет шампунем, знакомая отдушка, на-
звание Лев Наумович, правда, забыл. Миндаль
или ваниль? Слова...

— Мама меня ругает за то, что я ничего не хочу.
А я правда ничего не хочу, и что мне делать? Разве
от ее ругани это пройдет?

— Да-да, конечно же, не пройдет, — кивает Лев
Наумович, зачеркивает и подписывает сверху.

— Я не понимаю, зачем мне чего-то хотеть. Вот ты
любишь математику. А я тупая и к ней не способ-
ная.

— Ты не тупая.

— Ну, не тупая, но у меня нет такого... Я училась,
у меня были пятерки, но я просто не хочу... Я как
бы не вижу смысла, цели. Ну, вот я работаю,
я что-то зарабатываю, там. Чего ей еще надо?

— Ну, ей надо, чтобы ты что-нибудь такое делала.
Что все.

— А смысл? Какой в этом смысл?!

Лев Наумович вздыхает.

— Не знаю, кроха, — автоматически говорит он и пишет.

От слова «кроха» дочке хочется заплакать. В последнее время ей часто хочется поплакать, но она как-то все передумывает. У нее есть работа: в супермаркете, в бухгалтерии. Она смотрит мультфильмы про любовь, про романтических невест. И выращивает разноцветных улиток. Ночью сидит на улиточном форуме. Она не понимает, почему мама к ней пристаёт; она думает, что ей хочется плакать из-за этих ссор. А из-за чего на самом деле — никто не знает. И она сама тоже не знает. И никто ей не скажет, и мы ей тоже не скажем. Потому что не знаем.

Лев Наумович пьет кофе. Дочка приходила, сообщает он, глядя, как она выбирается из подъезда прочь, со своей маленькой сумочкой бежевого цвета, в мешковатом клетчатом пальто и в беретке. Почему-то я ее больше не люблю. Как это неправильно, что я больше никого не люблю. Разучился, что ли? Обидно, что умом я помню, как я любил ее, и что чувствовал, когда брал на руки, когда мы с ней рисовали истории на большом ватмане. Целую субботу могли рисовать. Выдумывали всякие особые дорожные знаки, фантазировали, как мы расставим их по всему городу, взамен обычных... рассуждали, как изменятся правила дорожного движе-

ния. Или как я залез на дерево, привязал веревку и устроил гигантские шаги, а она кульком висла на веревке, визжала, а я ее учил. И во всей этой ерунде было столько любви. Что я чувствовал, когда она по утрам заваливалась к нам на диван, между мной и женой? Я что-то чувствовал. Лев Наумович морщит лоб, сильно трет между бровями. Я ведь помню, помню, почему же я этого больше не могу.

* * *

И не пойду я никуда.

Ни на какую лекцию не пойду. Я пойду гулять, подумаю как следует, потом приду и буду работать. Как всегда. Почему я должен делать то, чего я не хочу. Почему они будут меня тревожить, а я буду их слушаться. И что вот я поеду. Как вот я возьму и поеду, как они это себе представляют. Я буду им рассказывать, а их уровень подготовки. Не пойду. Что за нелепая затея вообще. Я пойду гулять.

Пойду гулять.

И Лев Наумович идет гулять. Он втайне радуется, что всех обхитрил. Сбил планы. А вот пусть знают, что никаких планов не бывает. Что жизнь — сплошная случайность. Если хотите, это и есть моя лекция! Живой, практический пример! Лев Наумович шагает семимильными шагами. «В шестнадцать тридцать» — как будто у него есть время!

Погода совсем не та, что вчера. Ясно и холодно. Мокрые листья высохли и шелушатся. Беспризор-

ники у магазина бесятся, катаются друг на друге, валят с ног. Северный ветер сдирает остатки листвы с тополей. Дворы за ночь стали прозрачными, светлыми — теперь только ветки и стволы, всю зиму, лучше и не чувствовать, что это такое на самом деле, лучше и не думать. Лучше пусть будет весело, весело — залепуха, по шапке, ухватил медвежьими лапами, а тот верещит, оба упали, плюхнулись в грязь, третий пинает их, да нет, это уже не игра. Как быстро все развивается: вот машина Саши Хабибуллиной, хлопает дверью: внутри Петя и еще какая-то девушка, не Петина, конечно, а Сашина, — быстро возвращается, злобно разводит руками, оглядывается...

Ах, день, печальный вечер. Дня исход светел. Далеко он уйти не успел: пустая чашка на столе, и остатки чая в ней — горячие. Они едут вперед по проспекту. Они найдут искомого и тем самым докажут, что его нет. Быстрые рейды взад-вперед; заходы в прозрачные дворы; он здесь, ему некуда отсюда деваться, — двадцать минут проходит, и никакого Льва Наумовича. Становится ясно, что миссия провалена.

— Сбежал, — зло говорит Петя тогда. — Блядь, игры разума.

— Ну-ну, — говорит Саша. — Ты ж его знаешь. Это все было весьма вероятно.

— Я не могу понять, куда он делся! — кричит Петя. — Я тут все облазил!

Дурдом

Саша пожимает плечами.

— Такой человек. Что тут поделаешь? Поехали.

— Не приду больше! — говорит Петя, напоследок повернувшись к пятиэтажкам, к пожухлому мерзлomu полю с торчащими сухими былинками. — Кофе тебе перекрою!.. — и матерится сквозь зубы.

— Ну, прости ты его, — лениво увещевает Саша, выворачивая на Московский. — Тебе просто обидно, что ты не сумел его понять. А его никто не может понять. Ну, такой уж он, так сказать...

Петя молчит. Все он понимает; но не хочет понимать; и оттого все равно что не понимает.

* * *

А Лев Наумович сидит на табуретке в микроскопической рюмочной в торце пятиэтажки и с всепоглощающим интересом смотрит по телевизору повтор матча «Зенит — Терек». В руках у него бесплатная чашка с горячим чаем. Продавщица поглядывает то в кроссворд, то на Льва Наумовича; а он сидит, приоткрыв рот, и глаза у него там, на воображаемой линии, куда мяч если и залетит, то обратно вылетит уже совсем другим.

9. Авто́вский путе́провод. Пра́ва

— Значит, вы хотите, чтобы мы собрали комиссию?

— Ну да. Права хочу получить.

— Права?

— Да. Я же водила раньше-то.

— А-а. Водили. Ясно. И, значит, что — опять хотите? Да? Водить?

— Ну да. С ребенком очень удобно, когда машина, — извиняется Алиса непонятно за что. На работу я, правда, хожу пешком, но, например, за город. К друзьям. И вообще... хочется сесть за руль.

Вот это слово «хочется» — это, кажется, я зря сказала, соображает Алиса, глядя на врачихины чуть сдвинутые брови. Но нет, ничего, она как будто и не заметила. Листает.

— А-а. За руль. Ясно. Хм-хм... Так... Ну так у вас все совсем даже и неплохо! Вы же восемь лет назад последний раз госпитализировались!

— Так, конечно, у меня все неплохо. Не то что плохо, а прямо-таки у меня, честно говоря, все совсем даже и хорошо.

— Ну, уж прямо совсем... это уж вы, так сказать, хватили... Все-таки вождение в вашем случае — это дело, прямо скажем, нешуточное. Надо все рассмотреть очень внимательно.

— Конечно, конечно, я же понимаю...

(Кабинетик приятный: тихий и светлый, с видом на заснеженные ветки, ворон и серо-розовое небо. На столе — птичка из бумажных модулей. Только места очень уж мало. Прямо какая-то клетушка. Но тихо и светло. И очень спокойно.)

— Это очень хорошо, что вы понимаете... всю серьезность, так сказать... Вот я — здоровый человек, а, между прочим, по нашим дорогам ездить я не рискую. А вы со своими проблемами, которые все-таки имеются, собираетесь водить. Да еще и ребенка возить. Это надо прежде всего вам серьезно обдумать...

— Я обдумала...

— Это очень хорошо, что вы обдумали... Вы обдумали, а мы должны все внимательно рассмотреть.

И для этого, для того, чтобы мы могли все очень внимательно рассмотреть, Значит, что мы можем вам предложить? Вы ложитесь в стационар, законом предусмотрены две недели, мы вас не лечим, только наблюдаем, никакого лечения, и потом уже комиссия...

Алиса еле заметно вздыхает.

— Так ведь... Вы же сами говорите, что все неплохо. И что восемь лет назад...

— А что вы думаете, восемь лет — это много?! У нас бывает такое, что и по двадцать лет люди где-то ходят, как будто здоровые, а потом их опять к нам привозят лечиться. Думаете, это что, как грипп — прошло, и все? Это вам не грипп.

— Я понимаю... Просто... — Алиса понимает, что шансов нет, и замолкает. — Получается, я на работу потом выйду, и получается, что я здесь лежала. Ну и ребенок маленький, так надолго он без меня не останется.

— С мужем.

— Грудной.

Врачиха опять еле заметно сдвигает бровки. Какая симпатичная, замечает Алиса.

— Ну комиссию-то я назначу, понимаете, я-то назначу. Вопрос, что эта комиссия вам скажет, вот

в чем вопрос, понимаете. Потому что я могу попробовать сделать для вас исключение, но любой из комиссии может задать вопрос — а почему, если по закону вы должны лежать две недели.

— Спасибо вам большое.

— Да вот знаете, совершенно не за что, совершенно не за что... И вы все-таки подумайте... прежде чем за руль садиться... об ответственности перед окружающими... и прежде всего — перед своим ребенком...

* * *

— Чего вот они! — жалуется Алиса брату. — Такое отношение, как будто я раб на плантации в девятнадцатом веке и пришла перекрашиваться в белого! Вот реально!

Брат смотрит куда-то в верхний угол.

— А ты, Алиса, и правда подумала бы получше.

— Что-о?! — она ушам своим не верит. — О чем подумала бы?!

— Да о том, — говорит брат и смотрит на Алису. — Ты помнишь, как ты ездила? Через двойную сплошную помнишь? А как на трассе в шашки играла? А как кувыркком через поле, и стойки поехали? Это лютое везение было еще... Ну, и, конечно, когда

с хондой вы встретились-то... Забыла? Посмотри в зеркало. Или ты считаешь, что это была не ты?

— Да, — говорит Алиса, — это была не я.

— Это ты была, Алиса, — говорит брат. — И я бы на твоём месте ребенка возить просто побоялся.

Алиса опускает голову.

— А ещё, — добавляет брат, — вспомни, как ты *устранила пробки*.

Было дело. Однажды Алиса вдруг поняла, что ей, одной во всем городе, даровано право ездить без пробок. Весь город стоит, а она едет себе и посвистывает, самым преотличным образом. Потом, правда, ей захотелось это право отдать тому, кому оно нужнее, — так она и сделала, но право чудесным образом осталось с ней, и Алиса продолжала ездить без пробок еще какое-то время.

— Это же была болезнь, — говорит Алиса. — Как ты не понимаешь! Так вообще нечестно говорить! Ты давно ничего этого не вспоминал, а сегодня вдруг почему-то вытащил и трясешь.

— Я не вытащил и трясу; я хочу, чтобы все были живы и здоровы. И мне жалко племянника.

— Тебе ездить не стоит, — говорит отец, который до этого молчал. — Мы все так думаем.

* * *

Серое и розоватое небо за окном, розовые снега, серые домики, тропинки и сосульки, и все так спокойно, так мирно и ровно, что лучше этого ничего не может быть на свете. Алиса пьет кофе, стоит у окна офиса и любуется на заснеженный двор внизу. Машины покрыты ровным слоем снега. Вот отъехала одна — и четкий сероватый след ветвью параболы пролег к воротам. В офисе пахнет апельсином, имбирем, кофе и корицей.

Офис уютный, работа спокойная: Алиса — зам руководителя финансами не крупного питерского музея. Начальство ее тихо ценит. Алиса не хочет никаких повышений по службе, но, когда она попросила немного поднять зарплату, ей прибавили больше, чем она просила.

А теперь вот Алиса собирается получить права и водить машину. И здесь, на работе, никто не говорит ей, чтобы она обдумала. Никто не взывает к ответственности перед ребенком. Никто и знать не знает, что она ездила через двойную сплошную, а сказал бы кто, так не поверили бы.

* * *

Старый инструктор садится рядом в скрипучую тьму и скрипит:
ну что давайте показывайте что вы умеете...
да не та-а-ак!

Обожемой, Господи, да ничего-то вы не умеете...
куда вы дергаетесь... уй! Ай!
Куда так резко!!
вы что, хотите под машину под встречную попасть?!
Нет, вы все забыли, нет, все это без толку.
О! Направо.
Да НАПРАВО же!!
Нет, вам ездить не стоит...
не стоит вам ездить, вы вообще без тормозов...
э, э!! да не тормозите!! куда...
ноги! руки! куда вы смотрите, почему вы не смотрите?!
Уф-ф... ужас... я весь трясусь уже, я с вами работать не буду...

И скрипит, и вылезает, и стоит и курит в темноте под падающим снегом, скукожившись, а Алиса сидит в его холодной машине, пропахшей куревом, и думает...

* * *

Молодой инструктор садится рядом и говорит (спокойно и меланхолично):
ага...
(и, позевывая)
ну... и дальше вы... ага, вот так...
правильно...
все правильно...
не спеша трогаемся...
та-ак... еще раз... (глядя в боковое окно) — там машина, да...

Дурдом

едем? Ну вот и отлично...
вот тут повернем давайте...
куда поедем дальше? На проспект выезжаем?
Ага...
прекрасно... поворачиваем, аккуратненько, вот
так, да...
погода сегодня такая снежная, да?..
снегопад...

молодца, и-и-и-и... — уверенно — пла-авно
немножко вот так вот эдак поплавнее —
во-он за тем чуваком — и налево уходим
налево

правильно, все правильно
тут лучше объехать, здесь триста шестая паркует-
ся — они
тут парочками стоят всегда
ну, это бывает со всеми, давайте снова

отлично
просто замечательно

и-и-и... уверенно... пла-авно...
у вас отлично получается
вы практически все помните
можете не сомневаться, я вам даже не очень нужен

вениамин николаич у нас просто немного паниче-
ский старикан
осторожный через меру
вы не обращайтесь на него внимания

а я вам говорю: вы нормально водите

и ничего так особо не изменилось за восемь лет
ну народу больше
ну всякие чуваки — это на дорогах всегда есть
которые через двойную сплошную
и в шашечки играют подрезают на трассе
но этого бояться не надо
ну парковаться труднее
но в целом даже лучше стало
дороги за городом отличные, по кольцевой мож-
но нормально ехать
между нами говоря

ну, поедете справа
будете держаться средней скорости потока
так, так, именно так
вы очень правильно все делаете
все понимаете

чувствуется, что вы будете ездить нормально
и-и-и... — вон за тем чуваком — плавно — и-и — пово-
ротником не забываем показывать (зевает и от-
влекается на что-то свое, а Алиса ведет себе даль-
ше сквозь метель)

* * *

Костик мирно сидит у Алисы на коленях и болтает
ногами. Улыбается и ковыряет пальчиком Алиси-
ну кофточку. Ну прям ангелочек, умиляется старая
врачиха.

— А что, вам оставить не с кем, что ли?

— Не то чтобы совсем не с кем, но вот именно сегодня так получилось.

— Так получилось. А как же вы будете?

— Ну, мы вместе с ним всегда и везде, мы и сюда с ним всегда вместе, никогда не мешал.

— А вы что, кормите? — реплика справа.

— По данным ВОЗ, — говорит Алиса научно-популярным голосом, — принимаемые мною лекарства входят в список «Б», а значит, их можно принимать как во время кормления, так и в во время вождения.

— Ага, гм-гм, и во время беременности их принимали? — реплика справа. — Ага, гм-гм, и как это вы родили-то, да, — а после родов не было никаких... явлений?

Алиса с трудом заставляет себя доброжелательно смотреть на комиссию; ей страшновато и противно. Уже задано много разнообразных вопросов, в том числе о сексе и религии. Алиса врет и не краснеет. У нее есть цель: она хочет за руль, хочет взять руль в свои руки.

— Ну, а работа как? На работе-то вы как, удерживаетесь?

Алисе хочется ответить «а что на ней удерживаться, я не монтажник-высотник», но она *удерживается*: удерживаюсь, — говорит.

Ага, ага (переглядываются), а работа как?

Финансы, музей, нет — не директором, заместителем, наш отдел небольшой, — музей, этот, знаете, где все вот авангардисты и все вот это

ага, ага — гм! — конечно, знаем! — тучка, солнце

(старая врачиха улыбается Костику, подмигивает, цокает языком, но Алиса понимает, что это не имеет особого практического смысла)

какой спокойный у вас парень-то
а муж есть у вас?

гражданский муж, — уверенно врет Алиса, — мы вместе уже десять лет
о! — ого! — ага...
вот это да... молодцы... ну, молодцы! — ну что, отпускаем? Да?

— Погодите, — вдруг говорит мордокрасный доктор, который от бумаг не отрывался, все листал и листал, — а тут вот написано «не замужем» — это как? Восемь лет назад.

— Гражданский брак! — подсказывают ему. — Гражданский, Евсей Елисеич!

— А-а, гражданский — так это вовсе и не брак, — он смотрит на нее, прямо вперяется, — ага! Алиса! Из страны чудес... Помню такую! Это же вы восемь лет назад сюда приехали — вас привезли — ну-у, слушайте, и это вот вы хотите с учета сниматься? Это мы вот ЭТУ самую Алису с учета снимаем? Там же острый психоз в анамнезе, а на ее таблетках вообще-то водить машину нельзя — меня ваш ВОЗ не интересует, вот, я беру наш отечественный справочник и читаю русским по белому, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ — водить — а? — ради чего вы это всё затеяли вообще? — вы же пить эти таблетки и дальше собираетесь, или как? Вы вообще зачем тут пришли наше время тратить — я НИЧЕГО не подпишу, это профанация! — еще и ребенка тревит!

— Алиса, вы можете пока выйти с ребенком, нам нужно все обсудить, — шепчет старая врачиха. — Все будет нормально...

* * *

Алиса с Костиком выходят в коридор. Очередь, все сиденья заняты, но при виде Алисы встают сразу трое: молодой человек, постигший всю философию жизни, худющий, с бородкой; полная дама в розовой юбке; алкаш в дырявых ботинках. Алиса благодарит, садится рядом с цыганкой в платке, которая играет в шарики на своем допотопном, перемотанном изолентой мобильнике. Играет она с музыкой, зелено-фиолетовые шарики помигива-

ют и булькают. Костик радуется и тянется к мобильнику — и тут же пугается: страшная! — нос огромный, бородавки, пятна и рытвины, черно-седые пряди из-под платка, резкий запах.

— Кароший, кароший мальчик, — говорит цыганка, и морщины на ее лице складываются по-другому, теперь лицо улыбается, а рука гладит маленькую руку Костика. Тому и страшно, и интересно.

Но тут из кабинета выходит мордокрасный доктор, а за ним и остальные. Старая врачиха следом, с кем-то разговаривает, а на Костика и Алису больше не глядит.

— Пошли, — резко бросает чувак. — ЭЭГ тебе сделать надо.

Алиса подхватывает Костика и с радостной надеждой спешит за чуваком в соседнюю дверь.

— А ребенка куда? — останавливает ее чувак.

Теперь Алиса видит, как его зовут. На нем бейдж: Кондрашкин Евсей Елисеевич. Алиса что-то смутно припоминает, но ум сопротивляется и полностью выдавать воспоминание не хочет.

— А куда мне его?

— А куда хочешь. Ты чем думала, когда сюда его тащила?

Алиса садится на стул с датчиками. За столом — медсестра.

— А почему она с ребенком?

— У нее спросите. Алиса, мы ждем.

— Нет, а куда я его дену?

— Мы понятия не имеем! ЭЭГ с ребенком делать нельзя!

— В коридоре оставьте, — приказывает медсестра.

— Годовалого ребенка в коридоре?.. Давайте я ему глаза закрою, грудь дам, чтобы не испугался.

— Какую грудь?! Катя, посмотри на нее, она с учета пришла сниматься. Ненормальная же абсолютно, это сразу видно, какую тебе справку, зачем ты вообще приперлась...

— Мы ждем, — говорит медсестра.

Нет, я уже ждать не буду, — злорадно говорит мордокрасный Кондрашкин. — Все, Алиса, иди отсюда. Надо было думать головой, когда приперлась с ребенком.

— Подождите, — говорит Алиса. — Сейчас.

Она выходит с Костиком в коридор. Цыганка еще там.

— Посидите с ним, пожалуйста, — просит Алиса. — Пять минут. Ладно?

— Канешна, — говорит цыганка, принимает Костика на колени и начинает подбрасывать.

Костик дико орет и рвется к Алисе. Он никогда не оставался ни с кем даже на минуту.

Алиса вбегает обратно в кабинет и закрывает дверь.

— Вот это ма-ать, — злорадствует Кондрашкин. — Ты не мать... ты, ну просто я не знаю что такое. Ребенок у ней орет, она его одного оставляет... ох, хорошая была практика принудительной стерилизации... ну что? Давайте, Катя, датчики...

Они не спешат. Ор в коридоре становится надрывным, Костик захлебывается криком. Алиса закрывает глаза. Бля. Может, не стоит оно того, машина эта дурацкая. И правда.

Начинаются вспышки. Алиса сидит как истукан. В коридоре дико орет Костик.

— Ты кому его отдала-то — таким же психам, как сама, — слышится голос Кондрашкина. — Щас украдут его у тебя, всемирная ты наша. Кому давала-то, помнишь? — Кондрашкин посмеивается, и Алиса понимает, что он имеет в виду. Перед закрытыми глазами вращаются красно-фиолетовые

водовороты, пульсируют веретена, мельницы, огни.

Вспышки прекращаются. Ор в коридоре унялся, но слышен топот, встревоженные голоса. Захлебнулся, наверное, и посинел, — думает Алиса, — вот действительно мать ненормальная, все они правы. Алиса спешит, хватается за датчики, пытается сама срывать их. Медсестра слегонца, лениво шлепает ее по руке: куда!

Кондрашкин презрительно молчит. Алиса выскакивает в коридор.

Вся очередь столпилась вокруг цыганки и Костика. Цыганка пляшет с Костиком на руках. Худой и бледный молодой человек с бородкой, постигший всю философию жизни, трясет поющим мобильником перед зареванным личиком Костика. Женщина в розовой юбке читает вслух Чуковского. Алкаш в дырявых ботинках показывает на Алису и кричит:

— Костик! Позырь, это же мама идет!

Костик судорожно всхлипывает, плакать у него уже нет сил. Алиса хватается за его руки.

— Спасибо, — говорит Алиса, — огромное спасибо!.. Простите!..

— Ничего, ничего!.. — говорит очередь. — Все нормально!.. Все в порядке!.. Не за что!..

* * *

И вот Алиса уже едет по кольцевой, огибая город.

И здесь, конечно, возникает масса вопросов. Едет ли Алиса со скоростью потока? Не перестраивается ли неожиданно, создавая аварийные ситуации? Какой инструктор был прав — панический или пофигистический? Одобряют ли Алисин стиль вождения отец и брат? Полна ли она ответственности перед обществом и потомством? В здравом ли она уме и *удерживается* ли где бы то ни было, что принимает и кому давала, кто сидит с ней рядом, спит ли Костик на заднем сиденье?

Да, возникает масса вопросов. Но ответы на все эти вопросы невозможны. Все это останется неизвестным. Потому что до всего этого — кому бы то ни было — больше не должно быть равным счетом никакого дела. И солнце вспыхивает в окнах высоких домов.

10. Стас

Стас Марков просыпается по утрам и хочет сдохнуть. Надо бы пойти поучиться. Или, может, сходить поработать. Или подготовиться к завтрашнему экзамену. Но делать ничего не хочется. Хочется скорчиться под одеялом и сдохнуть. Или хоть поспать.

В этом состоянии он пребывает давным-давно. Ему хочется забить на все, сидеть дни и ночи и мочить гоблинов по сети. Но Марков бдит. Он не даст ему забить. И так уж целое детство не воспитывал, бросил их с мамой, когда Стасу было три. Теперь наверстывает упущенное. Пристроил работать к себе. Не поинтересовавшись, как водится, хочет ли Стас в этой жизни заниматься экономикой или, там, рекламой. Ну, а если бы спросил? Что бы Стас ответил?

Ничего бы не ответил. Вот и стал Стас менеджером в агентстве при папе. И девчонку, которая

нравилась, тоже туда устроил. Крутым хотел показаться, блядь. А потом в агентство пришел работать копирайтер этот. Петр. Матерый, блядь, человечеще. Это было полтора года назад. Сейчас их ребенку шесть месяцев.

С тех пор как она ушла, Стасу не хочется жить. Вернее, это произошло постепенно. Сначала Стас пытался делать вид, что ему наплевать. Съездил в Индию. Пошел учиться, уступив папашкиным настойчивым просьбам. Купил машину, получил права. Но себя не обманешь. И вот постепенно стало ясно, что ничего в жизни больше нет и никогда не будет. Да и не было, по большому счету.

Ведь это же в школе еще началось. Главное было желание — дотянуть как-нибудь до конца уроков (Стас не прогуливал) и пойти бухать с приятелями. Не, ну бухать — громко сказано; так, пивка с чипсами поколупать в парке. И даже понтов этих Стасу никогда было не надо. Успеха там, карьеры. То есть нет. Ему всегда было приятно, когда учитывали, кто у него папашка. И когда ему немножко завидовали. Нет, не сильно, не так уж. Сильно не надо, это уже ненависть получается. А вот так чтоб немножко. Но теперь Стасу уже и на это наплевать. Так все задрало, что ему абсолютно по барабану. И от чего устал — непонятно. Вроде на работе не перенапрягается, учеба вообще делать нечего по сути... Ну на хуй нужна такая молодость, когда ничего, ничего не хочется?

Восьмой звонок за утро, приходится взять трубку. Женя, епт.

— Стас, перезвони Геннадия Олеговичу! Он очень просил тебя позвонить!

— Отвали, пожалуйста.

— Стас, когда ты придешь? Тебя ждать вообще?!

Стас жмет на отбой. Сползает с кровати, идет в душ.

Хорошо хоть, скоро Марков с Региной уедут. Отдыхать, на десять дней, на Средиземное. Можно будет вообще не вставать с постели, забыть о том, что дедлайн по договору, что опять название неохраноспособное, и папаша не будет долбить со всякой ненужной дребеденью, типа этого конкурса дизайнеров, который тоже повесили на Стаса.

Ах да. Перезвонить Геннадия Олеговичу. Блядская стерва Регина со своими сраными претензиями. Тупой Геннадий Олегович со своими идиотскими запросами.

Стас берет телефон и звонит Геннадия Олеговичу. Вернее, он думает, что звонит Геннадия Олеговичу. С той стороны долго плывут двойные мегафоновские гудки, а потом трубка говорит знакомым настроженным голосом:

— Алло?

Позвонил ей. По ошибке.

— Привет. Это ты, что ли?!

— Ты кому звонишь?

— Тебе.

Стас стоит посреди коридора, голый, с полотенцем на бедрах. С него течет холодная вода.

— Ты как? — Стас.

— Я его выгнала, радуйся.

— Как выгнала? — сердце Стаса делает сильный удар. — В каком смысле?

— Совсем.

— Помощь нужна? — Стас, хмуро.

— Нет. Ты по делу или что-то важное хотел сказать?

— Хотел сказать, что... я люблю тебя, схожу с ума от любви, — выпаливает Стас, — обожаю тебя, ты жена моя, мы будем вместе, ты и я, все равно будем вместе, что бы там ни было!

И вешает трубку.

От этой выходки ему внезапно становится не по себе. Что он наделал?! Зачем это сказал?! Что она теперь о нем подумает?!

Стас лихорадочно напяливает трусы и джинсы. Руки ходят ходуном. Он ничего не соображает, не помнит: что ему надо делать, куда сегодня идти. Все сквозь туман, мешком по голове. Тоненький звон в ушах.

— Блин, я какой-то нервный, блин, — бормочет Стас, пытаясь попасть ключом в скважину.

На улице паршивая погода. Резко похолодало. Небо высокое, солнце холодное. Надо было что-то надеть сверху, вяло соображает Стас.

Красный свет. Кто-то толкает Стаса в сторону, и он видит: странный дядька в драной синей куртке, в наушниках и с велосипедным колесом на спине шагает прямо на дорогу, под машины. Стас бессознательно хватается за шиворот. Дядька рушится Стасу под ноги. Синий Opel Corsa, скрежетнув тормозами, впиливается в триста шестую маршрутку. Детали разлетаются взад-вперед, перед смят, но водительское место цело; водитель вываливается на проезжую часть, достает мобильник. Маршрутка дрейфует к краю тротуара, открывает двери и всех выпускает.

Дядька, крихтя, садится, плюет на ладони и трет руку об руку. Дикий жест.

— Ну что, — говорит он, глядя на Стаса, — здорово мы с тобой, а?! Чем меньше в городе будет машин, тем чище станет воздух!

Гайцы уже подоспели, хлопают дверцей своего драндулета, вразвалочку по асфальту, издали здороваются с водителем.

* * *

Переговорку называют рыбной, потому что в ней аквариум. Это вы здорово придумали, говорит производитель лимонада «Лариска», обстоятельно вплывая и вертя головой из стороны в сторону, как толстая рыбина. Располагается в кресле, выставляет ножку вперед, чтобы не укатиться.

Презентацию, в отсутствие Регины, берет на себя сам Марков.

У нас есть, как всегда, пять вариантов на выбор. Пять вариантов: феерический, идиотский, мудреный, скучный и адекватный. Сейчас руководитель творческой группы Петр...

Петр (полголовы бриты, полголовы рыжие) вскакивает, хватает маркер, тынькает им по доске, набрасывает концепции, рапортует.

Диджей Пузырь. Праздник «Пшик!» в клубе «Фифа&Уефа». Выдувание мыльных и жвачных пузырей. И еще есть пшикалки такие, знаете? Ну вот. Распылять. Делаем прически. Пузыристый орнамент. Вызываем группу «Буба Джа». Взбиваем пену в бассейне. Блестки. И многое другое. Простор

для воображения. «Запузыривай!» — это слоган. Вот, кстати, и рыбы со мной согласны...

Стаса дико раздражает Петр. Он так раздражает Стаса, что ему хочется заткнуть уши и закрыть глаза. А лучше — Петин рот. Чушь несет какую-то. Оно надо клиенту, твой сраный креатив? Клиенту деньги надо зарабатывать. А твои эти навороты клиенту на хрен не нужны. И еще манера эта блядь одесская или откуда он там прибыл, клоун. Стоит, орет, руками машет. Но она выгнала его, думает Стас без радости — с ненавистью. Она выгнала тебя, алкоголик чокнутый, бегбедер блядь недоделанный, кокаинист, каз-зел. Давай-давай, валяй, рви пупок за папашины деньги. Ты его еще не знаешь. Это тебе кажется, что он тебя ценит. Он тебя терпит, пока ты ему деньги делаешь. Как только перестанешь, он тебя выкинет и глазом не моргнет.

Шепот в правом ухе. Женя.

— Стас, ты почему новый бриф по «Клеверу» не доработал? Что там за черновики в конце?

Стас чуть отодвигается.

— Стас, почему я должна следить за всем, что ты напортачил?

Стас молчит.

— Хоть бы мне показал сначала, что ли. Вот сейчас заставляй человека ждать.

— Сама возьмишь и доделаешь, — шепотом говорит Стас. — Договор твой.

Женя вспыхивает. Стас молча пишет на договоре (спасибо хоть карандашом) неприличное слово и, скрежетнув стулом, выходит из переговоров.

* * *

— Так, Стас, в чем дело, — Марков, безразлично — всегда таким тоном распекает. — Ты Женю зачем обидел?

— Достала, — так же безразлично. — Ну да, она типа усидчивая, исполнительная и что там еще. Но мне трудно с ней работать.

— Тебе трудно с ней работать. А ей с тобой очень легко работать? Ты скинул на нее все решения, а она и рада. Летает как пчелка, а ты и рад. Она не жалуется, ты на нее сел и поехал. Кто тебе сейчас разрешал уходить?

— Никто не разрешал, — вяло. — Да, извини, я не прав, я виноват.

— Ты очень легко это говоришь. Но ты не пашешь. Мне не нравится, как ты ведешь себя в последнее время, Стас. Я тобой недоволен. Я не этого ожидал от тебя, когда брал тебя на работу.

— Да... как бы... я тебя не... не просил вообще-то.

— Иными словами, ты хочешь, чтобы я тебя уволил.

— Нет. Не хочу.

— Тогда в чем дело. Какого, прости меня, черта.

— Меня просто задалбывает. Напечатай одно, другое, третье. Разложи по полочкам. Клиенту втюхай про сроки, условия. Ничего не забудь, ни одну мелочь. Меня задалбывает изо дня в день.

— А ты другого ничего не потянешь пока. Ты Петю сегодня слышал? Ты так сможешь? Нет. Вот именно. Кроме того, ты молодой еще, тебе всего двадцать три. А голова у тебя, честное слово, неплохая, Стас! И ты на самом деле не по возрасту умен в некоторых вещах! Та же математика, те же финансы, ты же олимпиады выигрывал, почему ты не хочешь взять это на себя? Генеральный директор должен вести либо маркетинг, либо финансы; я веду маркетинг, ты будешь, когда меня сменишь, вести финансы — почему нет, зачем пытаться лезть в то, чего ты не можешь, лучше сосредоточиться на том, что у тебя получается хорошо!.. И у тебя есть задатки, я же вижу, ты четко просекаешь людей, ты их, правда, не любишь, но это не обязательно!.. Я тебя потому и посадил для начала поработать с клиентами. И ты работаешь, если бы не эта твоя непонятно откуда взявшаяся апатия, которую в последние месяцы я вижу, и раздражение на всех... Женья — я отчасти тебя понимаю, она бывает не права, она многого не видит, она слишком угодлива порой бывает, балует клиентов, а не всем клиентам на пользу баловство... Как правильно го-

ворит Регина, «а если клиент не прав, то это не твой клиент»... Иногда нужно и приструнить, а для Жени, которая привыкла только продавать, для нее это невысказано, она просто не может перестроиться. А ты очень хорошо умеешь именно ставить на место... Эй, Стас, я с кем разговариваю?..

* * *

Стас сидит в усталой позе, согнувшись, рядом со столом препода. Тербит в руках билет. Смотрит перед собой.

— Инфляция — это... переполнение каналов... Мысль, вильнув хвостом, иссякает. Стас проводит рукой по волосам. Препода уже торопится, уже подсказывает ему:

— Давай по-простому. Что происходит, когда инфляция?

— Деньги обесцениваются.

— Так. А уровень цен общий?

— Растет.

— Значит, инфляция — это что? О, боже мой. Инфляция — это общий рост цен. Давай зачетку.

Стас поднимается по лестнице. Чирк, чирк подошвами «крокодилов». Вот два зеркала друг напро-

тив друга. В одно глядишься, из другого выгляды-
ваешь. Зеркала старые, кривоватые. Бесконеч-
ность кривая, дурная.

Стас придиричиво разглядывает себя. Длинное
унылое лицо. Неистребимые прыщи на скулах.
Темно-русые пряди прилипли ко лбу. Дурацкий
вид. Мудацкий.

С площадки третьего этажа раздается резкий
воплъ:

— Эй, Папуля! Английского не будет!

Стас вздрагивает от неожиданности. По лестни-
це, размахивая бумагами, скачет вниз белобрысая
толстуха.

— В зеркала смотришься? — кричит уже снизу, уно-
сясь. — Красавчег! — и хохот снизу, на три голоса.

— Ну, ты-то, блин, тоже... жизнь со знаком каче-
ства, — сварливо бормочет Стас.

У расписания приятели. Стас сует им холодную
жесткую ладонь, проходя мимо, — мужское при-
ветствие. На душе у Стаса тоскливо. Можно на-
жраться, поехать в клуб. Можно валяться весь ве-
чер, тупить вконтакт, пиво глушить. Тоска все
равно остается.

— Йес! — крик за спиной. — Па-пу-ля! Английского
не будет!

— Знаю, — бормочет Стас.

После первой сессии встал вопрос, где праздновать. Стас и предложил: давайте на даче у моего папули. Как раз тогда познакомились с ним, Стас гордился. «У папули! — подхватил главный шут группы. — Да-да-да! Поехали к Стасикову папуле!..» Так всю дорогу и стебался. Ну, знаете, как это бывает. Слово не воробей. С тех пор Стас стал Папулей.

Надо зайти в библиотеку. Взять пару книжек — готовиться к семинару. С интернета все не скатаешь. Приходится, короче, учиться иногда. Зачем, правда, ни хрена не понятно.

Стас берет книги, спускается в вестибюль, запахивает куртку, выходит на улицу. Там солнце, холод, пыль и лед. Машина чивиркает, мигает навстречу, через пару секунд разблокируется замок. Стас садится за руль. Включает радио, снимает куртку. Едет.

Вырулив с бульвара на проспект, он снова набирает ее номер.

— Заеду.

— Зачем?

— Поговорить. Тебе купить чего-нибудь? Я мимо «Окея» поеду все равно.

— Ну, купи, там... яблок зеленых. Все, больше ничего не надо.

Времени половина четвертого, пробок еще нет. Стас едет и курит. Окно приоткрыто, сквозняк ерошит волосы. На небесах светло-светло, в городе сияние, резкие тени, мороз, ледяные повороты, вмятины в трансформаторных будках; неистовый весенний холод, и солнце, как ни в чем ни бывало, сверкает, ничуть не грея, яростно и восторженно.

* * *

Стас вылезает из машины. С трудом разгибает ноги. Ревматизм в двадцать три года — это, скажу я вам, неприятная штука. Он запахивает куртку и идет, скользя «крокодилами» по мерзлому насту: шурх, шурх.

Она сидит на скамейке, ребенок рядом спит в коляске.

— Привет.

Кряхтя, присаживается на корточки рядом с коляской. Слава богу, не в отца. Хорошо, что девчонка.

— Что сказать-то хотел?

Стас прокашливается.

— Выгнала его, значит?

— О, как вы мне все надоели. Если ты приехал устраивать сериал, то давай до свиданья.

Яркое, ослепительное небо. Стас вытягивает шею. Сует руки в карманы.

— Я так понял, что ты няню не хочешь. Садик нашел. Частная группа в обычном саду. Ясли. С восьми месяцев берут. Типа, ну, сначала я, а потом, если захочешь, если сможешь, сама будешь платить. Недорого. Проспект Добролюбова...

— И кто ее туда возить будет?

— Я.

— Спасибо, нет. Не нужен нам частный садик на проспекте Добролюбова.

— Как скажешь. Ну, я просто хотел... Ну... Мы с тобой друзья же все-таки...

Тридцать три холостых оборота Стасова сердца. Она молчит. Курит и смотрит равнодушно.

* * *

Река рябит, холодный ветер треплет голые ветви кустов. Машина облита ярким солнцем. Все то пламенеет, то погружается в густую серую тень.

«Единственный бизнес на свете, в котором нет никаких проблем!» — ритмичной диджейской скороговоркой выпаливает радио. Эту рекламу сделал Марков. Он любит сам делать рекламу. Много раз

Дурдом

говорил, что любит продавать и не любит копать-ся в финансах. Финансистом у нас будет Стас, у него математические мозги, с логикой порядок. Старший сын у Маркова давно погиб — выпилился. Вот Марков и взялся за Стаса.

Стас кладет голову на руль и представляет, что вокруг нет никакого солнца и он не в машине, а в рубке ледокола. Старого, советского. И что в полярную ночь этот ледокол идет куда-то на север, сквозь льды, идет далеко-далеко, а кругом полярная ночь, и так хорошо и спокойно, потому что солнца не будет никогда, никогда.

11. Автопортрет

Тоня живет в квартире четыреста пятьдесят девять на пятнадцатом этаже, от лифта направо. Ей пятьдесят три года, но она выглядит моложе, хотя раньше много пила. А может быть, она выглядит моложе, потому что типаж такой: маленькая, худая и веселая. У Тони синие вьющиеся вены на ногах, остренький курносый нос с очень красным кончиком, свалывшиеся, но густые русые кудряшки. По профессии она то кондуктор, то продавщица цветов, то уборщица в роддоме. И то, и другое, и третье она делает прекрасно, и все, кто знает Тоню, ее любят. Потому что Тоня — общительный, веселый человек. Она шутит с роженицами, шутит с теми, кто покупает нечетное количество цветов. И даже иногда с теми, которые покупают четное. У Тони ничего долго не держится в голове. Так было всю жизнь, поэтому детей Тониных воспитали другие люди, а о мужчинах и говорить нечего. И поэтому Тоня живет, как правило, одна. Иногда с ней поселяется какой-нибудь мужчина, но ненадолго. Он не выдерживает ветра. Тоня живет на постоянном ве-

тру и все время болтает, чтобы этот ветер перекричать. Один из Тониных кавалеров любя прозвал ее Кофемолка. В квартире у Тони ничего нет, только шкафчики хлопают дверцами да гудит от ветра продавленный старый матрас. Иногда Тоня снова начинает много пить. Тогда ее выгоняют с работы, и она приходит занять денег в квартиру четыреста пятьдесят пять — от лифта налево.

* * *

А в этой квартире, куда Тоня приходит занять денег и о которой мы говорим, живет семья: муж и жена. Жена нам пока неинтересна, а интересен муж. Это решительный, смелый и красивый человек. О таких писали Джек Лондон и Антуан де Сент-Экзюпери. Он работает на трех работах, а по вечерам гоняет в футбол. Поэтому Тоня, которая работает тоже много, часто ездит с ним в лифте то утром, а то вечером. И они всегда шутят. Причем не глядя друг на друга, потому что сосед ростом два метра, а Тоня — полтора.

Тема шуток может быть разной. Тоне много не надо.

— На шестнадцатом сегодня всю ночь грызли сахар, — говорит Тоня, глядя на лямку соседского рюкзака. — Прямо спать не давали.

— Да-да, — говорит сосед, глядя сверху на Тонины вихры. — я тоже что-то такое слышал. Но я думал, они пилят гири.

— Это у них сахарные головы, — говорит Тоня.

— То есть это они друг другу головы грызли? — сосед.

Двери открываются. Первый этаж. Все выходят (обычно к этому моменту в лифте бывает человек шесть с разных этажей), и Тоня мчится на триста шестую маршрутку, а сосед — машину прогревать.

Если же они едут вверх, вечером, то едут всю дорогу вдвоем и шутки бывают совсем другие.

— Как работа? — говорит Тоня.

— Волк, — говорит сосед с выражением. — В лес все время бежит.

— И смотрит, — Тоня. — Сколько ее ни...

— ...ни корми, — подхватывает сосед.

Приехали. Пятнадцатый.

* * *

Да. Ну так вот, а когда у Тони трудные времена, то она приходит к соседу занять денег. Потому что известно, что у соседа их очень много. Просто куры не клюют. Он работает на трех работах, и за каждую ему платят — ой-ой-ой сколько.

Ну что ему пять тысяч? Пустяки ведь!

И сосед тоже так думает и всегда Тоне денег дает. А Тоня часто даже отдает долги! Но вот жена соседа — она не думает, что это пустяки. Ей это дело почему-то не нравится.

Она шипит:

— Опять эта алкглчка пршла. Сккмжн ей деньги давать. Тебе все на шшею ссдтся. Скоро весь дм придет у тебя деньги прсть.

Сосед, сколько Тоня может слышать, молчит. Ее никогда не пускают дальше передней. Зеркала, мрамор и всякие такие дела. Ну, Тоня понимает, жена же.

Жену эту Тоня редко видит снаружи дома. Иногда только. Потому что жена соседа работает дома или вовсе не работает, а по своим делам ездит днем. Но иногда Тоня видит, как жена соседа в своих лосинах, мокалинах и темных очках вылезает из субару и, размахивая сумкой и мелированными прядями, шагает к подъезду. Тоня про себя называет ее Комариха. Комариха значительно моложе соседа. Тоня знает, что соседу под полтос, хотя выглядит он классно. А жене его и сорока еще нет. Да не только сорока, но и чувства юмора нет. Совсем. Как это он с ней живет?

* * *

Но вот наступает какая-то очередная зима, и жизнь Тони вдруг кардинальным образом меняется. Та-

кого с ней не было никогда. Точнее, лет с тринадцати, когда Тоня порезала себе вены. Но тогда были веские причины и поводы, а теперь поводов нет, причины неясны, а состояние точно такое же, как тогда, при Советском еще союзе.

Чувство юмора, не покидавшее Тоню сорок лет подряд, вдруг совершенно пропадает, а на его место приходят ужас, страх, тоска и черная кручина. Вот чего боится Тоня: ей представляется, что все люди на Земле вымерли и в пустом черном космосе крутится голый маленький шарик. Согласитесь, это действительно неприятная фантазия. А если она так и лезет в голову, и ничем ее оттуда не выгнать? И даже запить ее не получается, потому что только хуже.

И так бы Тоня и погибла от этих мрачных химер, если бы не сосед по этажу.

Дело было так: ночью Тоня, обдумывая всякие ужасы, вышла покурить на балкон рядом с лифтом. Она, конечно, могла бы покурить и в квартире, но так как ей все время хотелось совершить самоубийство, то она любила приходить на тот бетонный балкон и заглядывать вниз, борясь с желанием туда прыгнуть. Желание постепенно крепло, а борьба ослабевала. Вот и в ту ночь Тоня тоже пошла покурить на балкон, и, глядя на красные огоньки высоток вдалеке, крутила в голове свою черную пластинку.

Но на тот же балкон, в ту же ночь, по неизвестным нам причинам вышел покурить и сосед. Он вышел даже раньше Тони, и Тоня его там, на балконе, нашла.

— Че, как? — спросил сосед.

До той ночи разговоры всегда, без исключения, начинала Тоня. Поэтому соседское че-как однозначно звучало как выражение участия и понимания.

— О-о-ох, — поежилась Тоня и опасливо встала на пороге балкона.

— А-а, — сказал сосед и предложил Тоне закурить.

Они курили.

— Скажите, — сказала Тоня. — Вам не кажется, что скоро конец света?

— Неа, — сказал сосед. — Маловероятно. Будет, конечно, но не прямо сейчас.

— А вы точно знаете? — затаилась Тоня.

— Да тут и без конца света сплошная чума, — сказал сосед.

Вот какие слова он сказал Тоне. На минуту, на секундочку, но они ее согрели.

— Вы заходите, — сказал сосед. — Чаю выпьем на кухне.

— А жена? — спросила Тоня.

— Спит, — сказал сосед.

* * *

Они вошли в их сверкающую кухню, полную разных гаджетов и приспособлений, и Тоня тихонечко села с краешку на табурет. Сосед молча, степенно курил в форточку. В свете ночника (верхний свет они не включали) серебрились его волосы, черная седеющая щетка надо лбом. Тоня разглядела и якорь на мускулистой руке.

— Во флоте служили? — спросила Тоня.

— М-гм, — сказал сосед. — Практиковался. Семь месяцев плавали — никакой морской болезни. Все переболели, а я нет. А когда у всех прошла, у меня началась. И не кончилась. Так что с тех пор хожу посуху.

— Сочувствую, — сказала Тоня. — Мечтали, наверно, стать моряком.

— Мечтать — мечтал. Но, по правде говоря, за семь месяцев так надоело... Я все ходил вокруг трубы и задачки решал из «Занимательной математики».

С Тониного места кажется, что за окном темнотища, хоть глаз выколи. Но если подойти к окну поближе, то станет видна цепочка огней внизу, а за улицей — фонари по периметру заброшенного завода, на котором теперь автобаза, склады и какой-то другой завод, не заброшенный, но поменьше прежнего. Все это хоть немного, но освещено. А за этим заводом будет видно железную дорогу, не очень оживленную, а за ней, чуть правее, — кладбище, а левее — парк и корпуса многопрофильной клиники, а уж за ним, за парком, горят красные габаритные огоньки на высоких башнях нового бизнес-центра.

— Пора идти, — говорит Тоня шепотом, — а уходить не хочется. Хорошо у вас.

— Вы заходите, — говорит сосед. — Я все равно не сплю. Seriously, заходите.

Тоня кивает. Она пробирается к себе в квартиру, укрывается от ветра шубой и засыпает. С того дня ей становится немного лучше. Хотя сама Тоня этого не замечает. Мрачное настроение сменяется упадочным и сентиментальным. Заслышав в позднем метро скрипача, Тоня плачет и отдает ему предпоследнюю денежку. По вечерам Тоня пытается читать Библию (по правде говоря, просто держит ее в руках). Ей хочется спать, но она гонит от себя сон, потому что в половину первого сосед выходит покурить, и Тоня просится к нему на позднее чаепитие.

* * *

Сосед вдруг подставляет табуретку, шарит рукой по верхней полке и достает альбом.

— Вот, — говорит он. — Я тут... рисую иногда.

Тоня открывает альбом.

— Ух ты! — шепчет она потрясенно. — Да вы настоящий художник!

— Да уж там... художник, — усмехается сосед. — Смотрите, вот это моя старшая сестра. Ее уже нет. Она была медиком очень хорошим. Тут я ее любовно шаржировал, как она делает три операции сразу. — (Тоня улыбается.) — А это вот Баба-яга, она плачет, потому что не получилось зелье из мухоморов.

Дальше сосед молчит, потому что и так все понятно. Вот девочка на маленьком аэродроме, на сильном ветру, машет рукой, а самолетик-кукурузник то ли приземляется, то ли взлетает. Вот озеро и ели над ним. Вот голубые города. Вот на пирсе тихо в час ночной, в море встает за волной волна. Вот где-то далеко идут грибные дожди.

— А это Дед Мороз, — говорит сосед.

— Круто! — говорит Тоня потрясенно. — Ой, а это же вы сам! Здорово похоже.

Последний листок в альбоме озаглавлен: «Автопортрет моряка». Молодое лицо, короткие густые волосы торчат вверх, как щетка, глаза прищурены, губы ровные. И тельняшка.

— М-гм, — говорит сосед.

Тоня видит его мускулистую руку, якорь, а на запястье часы. Странно, такой вроде богатый человек, а часы у него... Часам этим лет тридцать. Жидкокристаллические, простые. Такие в восьмидесятых носили.

* * *

И уходит Тоня в тот день от соседа уже в совершенном покое, умиротворении; в состоянии обычного для себя беззаботного и легкого существования, которое она ведет всю свою жизнь.

И на следующую ночь Тоня к соседу больше не приходит. А утром на работу опаздывает и в лифте с соседом не встречается. И на следующий день, хотя не опаздывает никуда, не встречается тоже. А потом вдруг начинается весна, становится тепло, и из головы у Тони весенним ветром выдувает и соседа, и его рисунки, и остатки мрачных или печальных мыслей. Такой уж она человек.

И только в апреле, когда на деревьях появляется зеленый пух, а маршрутка триста шесть едет вечером уже без светодиодов, Тоня однажды сталкива-

ется внизу у лифта с Комарихой — женой соседа. Лифт приходит как раз, и Тоня жестом приглашает ее войти.

Та отступает на шаг.

И тут Тоня замечает, что с ней что-то неладно.

— Проходите, — говорит Тоня, но Комариха стоит в отдалении.

Двери лифта закрываются.

— Как... Как поживает ваш муж? Что-то его давно... — произносит Тоня, нутром уже чуя ответ.

Комариха плачет. Вернее, не совсем плачет. Она делает что-то совсем другое, но Тоне становится ясно, что вот такой у нее плач. Глаза у Комарихи сухие, а рот корежит от ненависти.

— Ой-ой-ой, — говорит Тоня и пытается обнять Комариху.

Она, Тоня, чуткий человек и заранее понимает, что затея эта зряшная, но не может не попытаться. Комариху аж передергивает. Она отскакивает на метр.

— Он умер, — говорит Комариха, глядя на Тоню. — Вы все на нем ездили... ффсссе... — Комариха ломается посерединке и закрывает руками лицо, а на

руки падают белесые пряди. Комариха сидит у стены и с яростью машет Тоне: уходи! Уходи, карга паршивая!

Тоня ретируется. Она едет в лифте наверх. Лицо у нее пылает. Мысли прыгают. Ей невыносимо жаль соседа. Такой человек совершенно не заслужил умирать так рано. Это был настоящий человек! Настоящий моряк! Тоня сильно волнуется. Поднявшись на этаж, она не заходит в квартиру, а ждет. Вот шум лифта. Комариха выходит на этаж. Она справилась с собой и даже пригладила волосы, но при виде Тони снова взвизгивает.

— Ты опять здессь? Я шшто сска...

— Подождите! — Тоня вскидывает ладони. — Я только хотела сказать! Мне так жаль! Ваш муж был таким художником! Таким замечательным художником! Продайте мне его «Автопортрет моряка», пожалуйста! За сколько угодно денег! Пожалуйста! Продайте!

Комариха останавливается в недоумении.

— Бабка, ты пьяная? — спрашивает она совершенно трезво. — В каком смысле художником? Какой портрет моряка? Ты о чем?

— Ну он же рисовал, — лепечет Тоня. Ее не заботят никакие условности, и даже душевное состояние Комарихи уже не останавливает. — У него же аль-

Ксения Букша. ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ

бомчик такой... лежит... я помню... карандашиком...

— Мой муж на финансовых рынках работал, — Комариха смотрит на Тоню как на ненормальную. — В банке работал, писал программы для финансовых рынков. Какие альбомчики? Каким карандашиком?!

Тоня быстро-быстро кивает, таращит глаза и отступает к своей квартире.

12. Шарлатан

Несгибаемая старуха Белла Владимировна покачивает париком, закрепленным двумя десятками железных шпилек, выкатывает белесые голубые глаза и говорит безапелляционно: «Доведем до восьмисот в сутки. Иначе никак». Почерк у нее си-не-фиолетовый. Убеждения нечитаемые. Тон неодобрительный. У нее огромный мясистый нос, тяжелые веки и подбородки.

Белла Владимировна смотрит на Тоню, бывшую продавщицу цветов и кондукторшу из сорок первого трамвая, так же, как и на других пациентов: бестактно и весело. Пока пациент остается пациентом, он этого взгляда не замечает. Или наоборот: пока не замечает, он пациент. Когда же он вдруг ловит на себе смертоносный взгляд Беллы, возвращающий его в болезнь, — вот тут-то он и выздоравливает с перепугу и пациентом быть перестает.

— А это откуда? — (Белла Владимировна откидывает челку с Тониного лба.) — Ты подралась, что ли, спьяну?

— Нет, не пила, я просто свалилась с лестницы, — отвечает Тоня, и тут Белла Владимировна на нее смотрит своим взглядом.

Какой это взгляд? Циничный, пронизательный, понимающий, заботливый, сочувствующий, фамильярный, хамский. Именно такой взгляд и нужен пациенту по всем правилам современной науки. Это взгляд-надзор, взгляд-дополнение к лекарствам (см. Фуко, «История безумия», «Надзирать и наказывать»). Это необходимый взгляд, он же считается и достаточным. Теперь Белла начнет расспрашивать и ловить Тоню на лжи, чтобы ей стало стыдно и досадно. Белле кажется, что стыд лечит. Она не понимает, что пациент впредь тысячу раз подумает, прежде чем сказать правду. Яков Эмильевич очень хочет вмешаться, но не должен, тут епархия Беллы. Белла листает карточку.

Но Тоня отвечает в своем обычном беззаботном тоне: меня просто кто-то снизу позвал. Похоже, это я и была, ахаха. Да-да, точно, это я сама себя позвала. Стояла внизу лестницы и сама себя сверху позвала.

Яков Эмильевич на миг недоумевает, но замечает вдруг, как улыбается Тоня; и ее взгляд; взгляд но-

вый, терпеливый, мудрый; и что-то тревожит его в этом взгляде, Тонин теперешний взгляд похож на ноябрьское солнце — неверные, прощальные лучи. Белла между тем сбита с толку. Если прислушаться, можно услышать скрип шестеренок у нее в голове. А... э... в каком смысле — сама себя? Что ты имеешь в виду? Это шутка, говорит Тоня, улыбаясь Белле улыбкой Сюзанны из «Свадьбы Фигаро». Я пошутила.

Белла, надо отдать ей должное, собирается быстро; но взгляд ее на Тонию уже не только бестактный и веселый, но и слегка беспомощный. Ах вот как, шутка. Это прекрасно, что у тебя такое хорошее настроение. А на работе-то теперешней как, удерживаешься? Где ты теперь работаешь — ага, в роддоме уборщицей?

Яков Эмильевич совсем не смотрит на Тонию, он смотрит в стол. Человек нас просит; не пациент, а человек *на равных* просит тебя *в последний раз*: хватит меня лечить, сделай что-нибудь на самом деле, вытащи меня из чертова колеса. Причем ни сама Тоня своей просьбы не слышит, ни Белла ее в Тониных словах не опознает.

— Продолжай, продолжай, — повторяет Белла.

Но Тоня, вопреки законам Беллиного жанра, не продолжает, а делает паузу. И в этой паузе Белле плохо, а хорошо ли там Тоне — это уже, кажется, не наше дело, тоскливо чует Яков Эмильевич.

* * *

Да, так вот этот ее взгляд, веселый и бестактный, настоящий профессиональный психиатрический взгляд, а главное — здоровый, да-да, и трезвый, — думает Яков Эмильевич. Ее парик, строгие губы и белесые всевидящие глаза дополняют картину полного здоровья, трезвости, того сочетания ограниченности и осведомленности, которое. Которое. (Яков Эмильевич завидует.)

Белла — хороший доктор. Сам он не такой хороший доктор. На работе его держат из-за отца: Эмиль Эммануилович был голова, настоящий психиатр. Он же, Яков Эмильевич, — шарлатан. Это его мнение о себе — вполне справедливое.

Недавно произошло вот что: немолодой специалист П. выпал из окна шестого этажа и разбился насмерть. Правда, самого падения никто не видел и не мог видеть, так как стоял густой туман. Учинили расследование. Доказали самоубийство. Но без виноватых не обошлось. Негласно виноватым был назначен друг покойного Яков Эмильевич. Вернее, не то чтобы друг, а единственный приятель. П. был странный. Одинокий. Почти ни с кем не общался, кроме как по делу. А вот с Яковом Эмильевичем — да. Значит, он и виноват. Он проявил недостаточную наблюдательность и проницательность. Прямо никто его не винил, винили косо.

— Вы не спрашивали его ни о чем, потому что боялись проявить бестактность, — резюмировала Белла Владимировна. — Мы вас не виним.

Прозвучало это, конечно, как «мы вас обвиняем». Якову Эмильевичу почудилось, что главной целью Беллы было вызвать в коллективе сильную цепную реакцию. Гонимый чувством вины за гибель П., Яков Эмильевич выбрасывается из окна; после чего Белла идет к его другу Р., говорит ему снова «мы вас не виним» — и, оп-ля, третий труп; и т. д.; в финале блистательной комбинации Беллу назначают кардиналом здравоохранения.

* * *

Есть у Якова Эмильевича любимый клиент, вернее, приятель по кличке Велик. Высокий, худой, обтерханный, лет пятидесяти; зубы чернейшие; шевелюра как гнездо; скулы выступают, нос крючком, подбородок вперед; слегка ограниченный, но вовсе не «сниженный»; всегда в ровном обаятельно-брюзгливом, с чертовщинкой, настроении; мастер парадоксов, слесарь на заводе и заядлый велосипедист. Правда, велик у него сломался, и теперь он просто носит на спине велосипедное колесо. Еще Велик обожает ходить по железнодорожным путям и по проезжей части; считает, что пешеход — тоже вид транспорта, причем такой, которому все должны уступать.

Велик не «лечится» у Якова Эмильевича, а просто берет у него рецепты на лекарства и раз в год-полтора полеживает в их заведении. Частенько они курят вместе вечерами у подъезда и о чем только не говорят! Первое время Якову Эмильевичу не

малого труда стоило держаться на тонкой грани: не заискивать перед Великом и не смеяться над ним. Потом он привык, и теперь между ними все просто.

Обычно они обсуждают людей. Остановится, например, рядом с ними соседка, молодая женщина со своим сыном; оживленно поболтают, обсудят то и се, потом соседка фланирует дальше, а Велик судит строго:

— Фальшак! Вторяк вторяка, как говорил мой учитель. — (Кроме прочего, Велик — художник.) — Посмотри на ее походку. Она вся изображает из себя. Ничего нет естественного. Нет, она ничего не знает. Ей еще взрослеть и взрослеть. Я всегда вижу, когда человек что-то знает, а когда он всего только посредник между холодильником и унитазом.

— Я с тобой не согласен, — возражает Яков Эмильевич кротко, скрестив ноги и выпуская дым. — Насколько я знаю, это и есть ее сущность, она была такой всегда. Это младшая сестра моей одноклассницы. Она всегда была жуткой кривлякой, но, понимаешь, есть же обезьяны, вот и она нечто вроде. Почему ты думаешь, что знающий человек непременно должен быть естественным?

— Пустейшее создание! — отрицает Велик непримиро. — Знает?! Да когда ей знать, если она все время хлопчет лицом?! Нет, нет и нет! Не люблю ее. Не люблю!

А Яков Эмильевич Велика любит. Но большого труда стоило ему не видеть в этих простодушных, пронизательных его мнениях какого-то прозрения, а в нем самом — святого или, там, юродивого. Да, что-то бывало близкое к тому, что-то мерцало сквозь внезапные нелепые заявления; но — Яков Эмильевич чувствовал — было бы несправедливо считать Велика мудрецом. Нет, мудрецом или святым он не был. Но не был он и «пациентом». Он человек, наверно, как и все. А больше, чем человека, вы все равно не вырастите и не вылечите.

* * *

Яков Эмильевич живет в старой девятиэтажке, что возвышается над районом, над желтыми штукатурными домиками, над кустами, осинами, тополями. Квартиру в доме дали еще его отцу. Яков Эмильевич — многодетный папа. Комнат в квартире только две, а сыновей четверо.

Гудят провода, и хрущовки стоят тихие-тихие.

Поле выгорело на солнце.

Яков Эмильевич кладет мяч на землю, разбегаются и бьют. Мяч звенит, но никуда не летит. Никуда не летит, звенит, но все же летит в ворота. Но не в ворота, а мимо.

Яков Эмильевич кладет мяч, и мяч исчезает.

Сергея переминается в воротах, Севка бежит за мячом.

В башне, которая возвышается над всем их потрепанным, густо-садовым микрорайоном, поблекли уже и самые верхние окна. Солнца в них больше нет. Солнце село.

Яков Эмильевич смотрит на часы. Ша! Окончен бал, погасли свечи.

Давид подпрыгивает, хватается за штангу ворот и, закаменев, пытается подтянуться.

Вертлявый Леха из соседней хрущевки подтягивает штаны (резинка лопнула, что ли).

Севка крутит грязный белый мяч, пытаясь разглядеть на нем континенты и океаны.

Левка подбегает к нему и ударом ноги выбрасывает мяч далеко в поле, в сухую траву, туда, где разбросаны чурбаки спиленного тополя.

Яков Эмильевич сидит на диване, подогнув под себя одну ногу. Ему лень включить свет; лень пожрать; лень сходить за вином или пивом; лень разобрать постель (она, впрочем, и не убрана, в ней спит младенец Илюха). Приобняв младенца, Яков Эмильевич пытается уснуть, но не может уснуть от усталости, от истомы; все косточки гудят, перед глазами плавают и вспыхивают ярко-желтое крошево прошедшего дня; везут и везут с улицы, голоса из розеток, бред, и возбуждение, и суициды, все одно и то же, один и тот же Соловьев, который каждый год принимается инспектировать милицию, да так, что первые пятнадцать минут менты ему верят и боятся. Радикально перефразируя Толстого: здоровье у всех разное, а вот безумие на всех одно. И чем безумней, тем обыкно-

венней, тем, парадоксальным образом, нормальной, в смысле установленных, прописанных в учебниках норм бреда.

Яков Эмильевич ворочается, от этого дверца шкафа скрипит, и на него падает халат. Все кругом как в аквариуме. Рядом, оказывается, уже спит жена, к ней присосался младенец, оттянув некрупную грудь, как резинку, набок. Портрет отца на стенке накренился. Ноги гудят. Одеяла не хватает. Звонит комар. Из комнаты сыновей доносится бубнение. Кажется, там больше народу, чем он родил. Сожрут все пельмени сейчас (сонный приступ голода).

Он засыпает и просыпается снова от тревоги. Ночь перевалила за хребет. Хлопнула где-то дверь. Пахнет ветром. Он лежит в неудобной позе. Мысли сползают в голову, как муравьи. Одеяло комкуется в ногах. Яков Эмильевич встает и пробирается на кухню, заваленную грязными блюдами и грязными полиэтиленовыми пакетами из «Пятерки». Он заглядывает в холодильник. Пельменей, конечно, уже нет. Почти ничего нет. Одинокое яйцо на верхней полке. Засохшая половинка лимона. Куриные кости в миске (сгрызли и не выкинули). Маргарин.

Ему хочется есть. Он достает из шкафа пресный черствый батон, кладет на него шмат маргарина, откусывает, запивает водопроводной водой. Есть приятно. Остаток горбушки он солит. Но погоди-

те, мне ведь захочется пить. Берет на ощупь чашку, проводит по ободку. Грязная. Чаинки. Хер с ними. Наливает воды из-под крана и, зажимая чашку в руке, а бутерброд в другой, лбом открывает дверь из кухни. Илюха в комнате просыпается, издает вялый стон, но вскоре, видимо, находит сиську. Слышно, как он глотает молоко. Яков Эмильевич на цыпочках (спазмы восторга в желудке, переваривающем первый кусок бутерброда) крадется в комнату. Зацепляется ногой за чемодан, мягко падает на кровать; бутерброд цел, вода чуть выплеснулась. Яков Эмильевич сворачивается калачом вокруг мокрого пятна. Он запихивает в рот остатки бутерброда. Допивает воду. Его подташнивает, но плевать. Он вытягивается на кровати, среди мокрых пятен и толстых рук жены.

* * *

Яков Эмильевич женился семь лет назад. Обозревая свой жизненный путь, он признавал, что всегда был уникально непутевым. В мед он пошел только из-за отца и специализацию выбрал тоже «по фамилии». Учился неплохо, но, как только началась практика, понял почти сразу, что для этой профессии не подходит. У него было слишком живое воображение, его все отвлекало. Чужое безумие и невозможность помочь больным удручали его. Ему бы стать художником или поэтом, а впрочем, тогда он стал бы графоманом или мазилой. Сам Яков Эмильевич чувствовал, что вообще ни для какой профессии не годится. Отец умер, когда

ему исполнилось двадцать шесть, и бедный Яков Эмильевич «пошел по рукам». Из психиатрической больницы он уволился, стал работать представителем фармацевтических компаний. Получал неплохо, но деньги все время куда-то девались. Вдобавок он постоянно связывался с крикливыми, стервозными, полными претензий девицами выше него сантиметров на тридцать (Яков Эмильевич был невелик ростом). Эти девицы поражали его воображение, пылко восхищали его, он загорался, мир вспыхивал, Яков Эмильевич влюблялся, и они, кажется, тоже влюблялись в него, и у них бывал страстный секс, много раз подряд, а потом девицы неизменно начинали оглушительно скандалить, чего-то требовать, замахиваться на Якова Эмильевича и делать ему оглушительные гадости, например приходиться на работу, расцарапывать лицо ногтями, рвать его рубахи, выкидывать из окна принтеры, бить окна, резать себе вены и уделывать кровью белое белье, и все чего-то требовали, требовали, требовали, и Яков Эмильевич очень долго и безропотно на их требования велся, а потом они исчезали, и он страдал.

Например, одна из девиц ограбила его с грузовиком — выгребла из профессорской квартиры все книги и побросала вниз, а чтоб было удобнее, выломала раму окна. У нее была абсолютная уверенность в том, что она имеет на это право. У Якова Эмильевича, в общем-то, тоже. Книг было жалко, но он странным образом испытал и некоторое удовлетворение. Размышляя об этом, Яков Эмиль-

евич приходил к выводу, что негодяйка избавила его от нависающей отцовской тени; все равно эти книги пылились, а так, может быть, она продаст их, и они попадут к людям, которые будут их читать. Другая девица подпалила ему бороду и брови, так что он неделю ходил с красным лицом. Третья облила горячим рассольником. Четвертая заставляла себя ждать в метро по три с половиной часа, причем каждые двадцать минут аккуратно звонила и говорила: «Милый, я скоро буду». Яков Эмильевич не протестовал, он бродил по метро, вынимал из бороды кусочки соленого огурца и смазывал морду пантенолом.

Так протекло около семи лет. Измученного девушками Якова Эмильевича уже не брали в фарм-представители, он прибил к экспедиторам, но одним весьма жарким летом у него стало так плохо с деньгами, что он решил пустить к себе в дом нескольких иностранных рабочих. То есть он думал, что несколько: их оказалось четырнадцать. Под окном они поставили раздолбанную девятку, из которой все время играла попса, а сами оккупировали профессорскую квартиру и быстро превратили ее в черную засаленную помойку. Яков Эмильевич утешал себя тем, что не все иностранные рабочие таковы, но вот ему достались досадные экземпляры. Он стал спать вне квартиры, под забором, в бурьяне и лопухах и вскоре сам тоже стал засаленным и черным. Он ушел с работы, а потом предпринял попытку самоубийства. Прямо там, в бурьяне и в лопухах, он вскрыл себе

вены. Дело было ярким утром, люди шли на работу — девушки в развевающихся шмотках и мужчины в каких-то шмотках тоже. Яков Эмильевич стоял у стены и смотрел, как алая кровь льется из вен на мятые темно-зеленые лопухи, на крапиву и бурьян. Затем он решил, что все это глуповато, заткнул покрепче вены обрывками рукавов и пошел посидеть в придорожном кафе на бензоколонке.

Там его и нашел его университетский товарищ по фамилии Хрисанфов. Он ехал поутру с кладбища, где рвал сорняки на могиле родителей, к себе на работу; застрял в пробке, захотел поссать и решил заодно залить бак и выпить кофе. Хрисанфов, отдуваясь, вышел из туалета. Он был в шортах и клетчатой рубаше и за минувшие после выпуска десять лет отрастил бороду и завел нескольких детей с именами: Елисей, Влас, Фрол, Аксинья и т. д. Он поместился рядом с коллегой за (единственный) пластиковый столик и тут узнал его.

Спустя десять минут Хрисанфовым был разработан и изложен план спасения Якова Эмильевича от упадка. Согласно плану, Яков Эмильевич должен был устроиться на работу по специальности и немедленно жениться. Все это я беру на себя. Как, удивился Яков Эмильевич, и свадьбу? Да, бодро сказал Хрисанфов, нажимая на мобильнике какие-то кнопки. Само собой разумеется, невеста должна быть традиционной. То есть православной. Ямщик, не гони лошадей! — воскликнул Яков

Эмильевич. Ведь я еврей! Хрисанфов бросил нажимать кнопки и устался на Якова Эмильевича. Его замешательство, однако, длилось недолго. А, ну еврей, так что же, быстро сообразил он. Значит, мы найдем тебе традиционно еврейскую жену, я даже знаю, через кого. Главное, чтобы свадьба состоялась традиционным образом. Тогда у тебя не будет места для сомнений, ты перестанешь метаться и прилепишься к своей жене и профессии. Да, но что, если это будет не моя судьба, возразил было Яков Эмильевич. Вот! — потряс пустым пластиковым стаканчиком Хрисанфов. Это твоя роковая ошибка. Ты чего-то ждешь от этой жизни. А жизнь — это вот! — и он снова потряс пластиковым стаканчиком. Посмотри! — и он обвел стаканчиком залитые солнцем серые двенадцатиэтажки, пыльные вывески, пыльную дорогу и машины в пробке. Вот этим надо наслаждаться, этим! Потому что, если что-то еще пытаться придумать, получается еще большая пошлость! А надо наслаждаться тем, что есть! Вот у нас на отделении сделали ремонт, и все начало сразу разваливаться, — но ведь сделали же! И чисто! И не надо философствовать! Жизнь — это вот этот вот стаканчик, сказал Хрисанфов, вертя стаканчиком (Якову Эмильевичу послышались суровые звуки органа). Вот этот стаканчик, белая пластиковая дверь и прочее. И больше ничего у тебя не будет, и у меня не будет, и ни у кого не будет. Но ты учишься избавлять людей от страданий. И ты будешь этим заниматься. Кстати, добавил Хрисанфов, я тут приобрел по дешевке несколько книг из библиотеки твоего отца. Лад-

но, согласился Яков Эмильевич, я согласен. Только размер груди не меньше пятого, пожалуйста. И чтоб звали Юдифь или как-нибудь так. Для чистоты порядка.

И жену ему нашли, и познакомили, и поженили по всем еврейским правилам, и звали ее не Юдифь, и сиськи оказались маленькие. И Яков Эмильевич устроился на работу на другом конце города (сначала на триста шестой до метро «Кировский завод», а потом от метро «Черная речка» на двести пятьдесят второй), и всем там было на удивление все равно, что он за врач и что он знает, да и жене было все равно, что он за муж. И так протекло еще семь лет, и у них родилось четыре сына, а могло бы семь, так что и на том спасибо. Брюки у Якова Эмильевича постоянно были пыльные, а на работу он выходил с всегда с двумя черными мусорными мешками. Иногда мешки рвались, и мусор высыпался на лестничную клетку. В такие дни Яков Эмильевич на работу опаздывал.

* * *

Тем летом они, как всегда, отправились в отпуск, на юг, но не к морю, в жаркую пыльную местность, замечательную только тем, что там жила теща и росло огромное количество помидоров. Яков Эмильевич не любил помидоров. Дом тещи находился на окраине поселка городского типа, всегда залитого каким-то неистовым солнцем, от которого абсолютно некуда было скрыться. Помидоры

под ним пузырились и пламенели. Дом был двухэтажный, барачного типа, на шестнадцать семей, и все соседи друг друга знали наизусть. Пространство между домами заросло пасленом, помидорами, табаком, маком, везде валялись окурки, битые бутылки, утопанные полянки были завалены семенной шелухой. Жена и теща в основном сидели дома и смотрели телевизор, а дети носились по двору с окрестной шпаной. К концу отпуска Яков Эмильевич обычно дичал, чернел, зарастал и утрачивал человеческий облик. Дни были адом. Он абсолютно не знал, чем ему себя занять. Теща и жена шпыняли его, обсуждали и осуждали его. Соседи над ним потешались. Когда Яков Эмильевич заходил в местный магазин за пивом и сигаретами, вокруг воцарялась оскорбительная тишина. Пойти гулять было некуда: единственная тропа, обсаженная жидкими узловатыми тополями, вела на местную птицефабрику, вокруг которой дико воняло куриным дерьмом, да и по этой тропе непрерывно фланировала местная молодежь, которую звали поголовно дима или аленка. Причем димы были плюгавые, узколицые, в кривых джинсах и с красными кадыками; аленки — высокие, толстые и все время заливались хохотом. Яков Эмильевич шел среди них, черный, дикий, маленький, как Пушкин, с застывшим лицом, и проклинал тот день и час... всякий день и час он проклинал. Частичное облегчение давали только вечера. Городок заливала чернильная жаркая темнота, и, сторонясь фонарей, несчастный психиатр садился где-нибудь под стеной, в кустах, отскорлупывал банку

местного пива и с наслаждением высасывал. Напиться он не мог себе позволить. Долго сидеть в кустах тоже было невозможно, потому что комары кусали с каждой минутой все сильнее. Иногда Яков Эмильевич контрабандой проносил вторую банку в дом и запирался с ней в туалете, где вместо комаров шныряли крупные тараканы.

Так проходило каждое лето. Яков Эмильевич мог бы и привыкнуть; но этим летом мучения зашкалили, дошли до своего предела. Может быть, просто количество перешло в качество. Июль выдался каким-то особенно жарким. В поселке отключили горячую воду. Куриная ферма слила говно в местный водоем, отчего у детей по телу пошли зудящие волдыри и поднялась температура. Жена с тещей от этого вконец обезумели и пилили Якова Эмильевича с утра до ночи. Еще до этого Яков Эмильевич каким-то образом умудрился поссориться с соседом — владельцем ротвейлера, который выпускал питомца носиться по двору без поводка, и теперь сосед, только завидев его, потешал свою компанию тем, что давал ротвейлеру команду «фас». В общем, Яков Эмильевич в результате совсем дошел. Он почти перестал есть (спал он в отпуске и так всегда очень плохо), еще сильнее похудел и однажды после очередной ссоры с женой встал и побрел через весь поселок на станцию. Он брел туда почти час, среди оград, которые ломились от буйной помидорной плоти, в одуряющем пасленовом дурмане, по раскаленному асфальту. Вот наконец и платформа. До элек-

трички оставался час. Этот час Яков Эмильевич просидел не шевелясь, даже пива себе не купил. Небо над ним стояло выцветшее, белесое — ни облачка, ни ветерка. Наконец электричка подошла, и Яков Эмильевич в нее сел.

До города он ехал два часа. Мобильник плавился в его руках. Пару раз он все-таки ответил на звонки жены; вернее, он нажал кнопку и сказал: да. Я пошел прогуляться. Нет, я вернусь к вечеру. Да, я на станции. Да, я вернусь. Нет, я не схожу сейчас в магазин, я хочу отдохнуть. Жена, конечно, только пуще вздурилась от таких бессмысленных ответов и стала трезвонить каждые пять минут. Тогда Яков Эмильевич выключил телефон. Но это тоже не помогало. Голос жены звучал у него внутри головы. Вдобавок электричка все время поворачивалась так, что Яков Эмильевич сидел на солнечной стороне; стоило ему пересесть, как рельсы поворачивали, и его снова заливало солнцем, так что к концу поездки он совсем перестал думать.

* * *

Он приехал в город без десяти пять, в самую невыносимую жару. У вокзала пахло укропом, бензином и переполненными биотуалетами. Кругом шумели фонтаны, пыльные деревья, пламенели огромные клумбы с розами, дети шныряли на самокатах и лизали мороженое, многие мужчины шли с работы по пояс раздетые и пили пиво прямо на улице. Это был южный город. Яков Эмильевич тоже считал

себя южным человеком, но здесь ему не нравилось. Он перешел через площадь и купил банку пива в магазинчике, но, отхлебнув, понял, что сделал это зря. Голова кружилась, сердце колотилось, организм быстро наполнялся тревогой.

Подошел троллейбус. Яков Эмильевич туда сел. Вернее, не сел, конечно, а встал. И об этом пожалел тоже. Ему никогда еще не было так плохо. Моментами он даже переставал понимать, что с ним происходит; ему хотелось заплакать, разорвать на себе рубаху, вывалиться из душной толпы на тротуар, обнять продавца помидоров и рыдать горько, чтобы выплакать весь яд, накопившийся в груди. Но он не мог даже заплакать, ведь для этого надо было набрать воздуха, а толпа стискивала его. Это была южная толпа. Толпа помидорная, бодрая. Этим людям жара нипочем. Вокруг царило умеренное будничное веселье, уставшие после работы женщины все равно улыбались, у незнакомых друг с другом людей завязывались короткие беседы. Яков Эмильевич чувствовал их радость, но так, как чувствует окружающий воздух больной с высокой температурой. Небо в окне было яркосинее, дома — белые и пыльные.

Вот троллейбус выехал на широкий проспект с новостройками, народ почти весь повыходил, а справа потянулся буйный парк. Яков Эмильевич прошел на ватных ногах к дверям. Да, крепко меня прихватило, подумал он. Я правильно делаю, что еду туда. А то еще чуть-чуть, и я бы сам в помидор превратился.

Последний раз он был тут лет пять назад, на некоем брифинге по обмену опытом, и здание местного психдиспансера помнил смутно. Теперь оно показалось неправдоподобно маленьким. Яков Эмильевич даже засомневался, туда ли он попал. Но да, вот и бетонный козырек, ворота, и, выцарапав из кармана мобильник, Яков Эмильевич включил его и нашел номер заведующей отделением, которой на том брифинге он втирал что-то умное об атипичных антипсихотиках.

Она взяла трубку, но оказалась — на море, в отпуске. Как жаль, как жаль, покудахта она, но вы входите, разумеется, вы позвоните Дмитрию, он будет вам очень рад! — очень рад! — я вам сейчас пришлю эсэмэской...

Эсэмэска шла минут пятнадцать. Все это время Яков Эмильевич просидел на краю тропинки, глядя в траву. Его обдувал пыльный жаркий ветерок. Уже вроде бы вечерело, хотя вообще-то в этом помидорном краю день падал в ночь очень быстро. Сквозь траву резало глаза солнце. Когда эсэмэска пришла, Яков Эмильевич сразу позвонил Дмитрию, и тот вышел его встречать.

— Здравствуйте-здоровствуйте, какими судьбами? — Яков Эмильевич с опаской прошел за ним на территорию. Крошечный асфальтовый двор, пестрые клумбы — явно дело рук зав отделения. Белые линии на асфальте, как во дворе автошколы.

— Да вот, приехал, решил зайти, — лепетал Яков Эмильевич.

С каждым шагом его страх возвращался. Ему почему-то казалось, что Дмитрий не просто так ведет его за собой; что он тут останется и проживет весь остаток жизни. Подслеповатые окна зловеще подмигивали.

Яков Эмильевич замедлил шаг.

— Может, мы тут... на воздухе поговорим, — предложил он.

Дмитрий остановился и обернулся.

— Да что вы, — и тут Яков Эмильевич увидел его взгляд, профессиональный, как у Беллы, — здесь у нас и негде совсем, да и... А что, у вас в Петербурге вот так на воздухе принято с гостями чай пить?

— Собственно, нет, я просто подумал... — Яков Эмильевич попытался улыбнуться.

— Да что с вами, на вас лица нет, — сказал Дмитрий. — Пройдемте.

Яков Эмильевич судорожно собирал в памяти куски своей легенды: обратились... родственник... нужен рецепт... Нет, не поверит, мгновенно подумал, более того, уже все понял... и сейчас упечет... так просто — скажет «вам надо отдохнуть» или что-ни-

будь в этом духе, а он, Яков Эмильевич, ему поверит... точно поверит, и это будет конец. Да-да, здесь конечная, кольцо. И слепые окна смотрят на закат. Он останется здесь навсегда, а может, уже остался.

Яков Эмильевич сделал шаг назад, потом еще шаг, потом улыбнулся Дмитрию, повернулся, проборотал «До свиданья!» — и быстро, почти бегом покинул территорию. Когда он проходил через вертушку, его обдало холодным ужасом. Солнце заходило. На троллейбусной остановке было полно народу — рядом находился большой завод по производству томатной пасты.

* * *

В Петербурге валит отвесный снег. Апрель на середине, но нет конца зиме. Казалось, что весна уже наступила. Но после трехнедельной оттепели снова закрутило, завалило, и вот сыплет, и вот уводит обратно в зиму, в минус, в декабрь.

Заглядывает перепуганная медсестра с другого отделения.

— Яков Эмильевич, можно вас попросить на минутку.

Парень из психоневрологического интерната. Редкая болезнь костей: обеих ног и руки уже практически нет. Думали, месяца два еще проживет, но сейчас видно: не больше трех недель. Не в первый раз уже у них, хороший парень.

Дурдом

Медсестра к нему, испуганно:

— Не дает перевязку делать. Успокойте его как-нибудь!

Взять за оставшуюся руку. Призвать к мужеству. Мол, ты — парень. Парни не боятся боли. Привести кого-нибудь в пример, Виктора Матвеевича, скажем. По кличке Бывший. Это авторитет. Бог не дает, гхм, свыше сил... черт, как его там. И вообще, расслабься.

— Повыше его подтяните.

Выходит с медсестрой за дверь:

— Как вам не стыдно. Ну не экономьте вы, елки-палки.

— Мы не экономим. Мы бы кололи, если бы было что колоть (агрессивно: боится, что Яков Эмильевич пожалуется). Белла Владимировна вот придет...

Яков Эмильевич грустно качает головой:

— Не придет.

Ковыляет мимо бодрый старик, позвякивая нацепленным металлическим хламом: крышка от тушенки, старый, найденный где-то значок Законодательного собрания, а на почетном месте, напротив сердца, — розетка, и в каждой дырочке — по розовой бусине.

Конечная

13. Я — Максим

Говорят, что люди растут до восемнадцати лет, а я только в девятнадцать начал.

Семья у меня так себе.

Папаша отсидел, потом мать бросил. Алкоголик.

Потом помер.

но дело не в этом

многие так живут и семьи у них еще хуже

и ничего — ок норм

а я вот реально — сколько себя помню — я постоянно был

какой-то вечно злобный, озлобленный, в дурном настроении

идешь в школу, голуби — хочется их ПНУТЬ

мать раздражает, все раздражает

мы в однушке жили

так стенки все были в дырах

я потому что их пинал

меня все бесило
идешь мрачный... не идешь — ноги волочишь

и я так жил до девятнадцати лет, я просто не знал,
как так по-другому-то
наверное, я бы спился
если бы не случай

* * *

в армию меня по здоровью не взяли, зрение минус
семь
работал там сям, траву почти каждый день курил
однажды я иду, и у нас на Сосновой поляне есть
переход
через железнодорожные пути.
Очень говорят опасный переход, много человек
там гибнет.
Каким-то летом даже трое подряд с разницей в не-
сколько дней.

И вот иду с работы
с овощебазы
темнота, не вижу ни хуя
а еще и в наушниках был
и электричку проворонил.
Там долго так идешь, идешь по тропинке вдоль же-
лезнодорожных путей
а потом поворачиваешь и как-то так получается
что прямо навстречу электричке ты идешь.
Электрички на Петродворец, Калище там идут.

Конечная

И я как раз проворонил электричку — и чуть не попал под нее!

Как подорвался! еле проскочил!

Вот реально — еле-еле!

Она гудит, тормоза скрежещут... я в кусты! Бежать

И вот тут меня как раз торкнуло.

Меня так не торкало ни с каких там веществ

ни с алкоголя, ни с чего

в голове шумит, темнота вся такая...

как будто цветная

сразу запахи слышишь, все вокруг как...

как какая-то карусель.

И я такой прибалдевший

с лыбой такой

иду-у-у-у себе домой

и мне реально ТАК кайфово стало

И утром я встал и пошел на работу, и тоже

спокойно, вокруг все такое...

волшебное

я просто как будто сбросил все это вот

что на меня давило

запрыгиваю в триста шестую, не бесит ничего

как будто люди какие-то другие

стали вокруг

улыбаться хочется

* * *

И в тот же день я пошел и написал заявление.
Вдруг я понял, что меня бесит мое имя – Игорьь.
А меня тогда звали Игорек. Бля... Игорек.
Даже вспоминать неприятно.
Ну и все, и очень быстро Игорек остался в прошлом, а я стал Максим.
Меня зовут на самом деле Максим.
Я – Максим!

Когда вышел с новым паспортом...
Это было такое чувство!

Я – Максим!

И пошло.

как только я Максимом стал, сразу подвернулась
работа
на нашей улице открывался магазин крафтового
пива
а я вообще люблю пиво
хотя к алкоголю отношение у меня специфическое
я больше курил травку
но когда Игорька послал, то и травку уже курить
стал реже
я устроился в этот магазин
и стал нормально получать

и я снял комнату
пусть это дорого было для меня

Конечная

я решил снять и подумать просто в одиночестве
хоть пару месяцев
без этой бубнежки
без телевизора

вот как-то так все пошло
так все поменялось

* * *

Прошло несколько недель, месяц, может, или побольше.

И я понял, что все возвращается как было.

Я это понял, потому что познакомился с девушкой хорошей.

А мы в лифте едем — она что-то говорит мне, а я вдруг чувствую...

Чувствую опять. Что хочется ПНУТЬ.

Жесть.

Взял сигареты вышел на балкон
пятнадцатого этажа

И тут я в первый раз можно сказать задумался

почему так, сколько во мне злобы-то откуда

почему все такое вокруг мрачное и тупое

и все такие дебилы

и все меня бесит и я сам себя

И я пришел к выводу, что надо просто мне продолжать делать это.

Девушке сказал, что надо по делам выйти, посмотрел расписание электричек...

Дальше понятно. Дождался электрички, рассчитал там секунды...

И рванул.

Прямо перед самым носом, в последний момент. Ух! Там такое началось! Агонь! По-моему, он меня побежал догонять просто...

Может, это тот же самый был машинист, не знаю. Но это неважно.

В тот момент я понял, что вот.

Что это именно — что мне надо.

Это как бы такая перезарядка батареек, и мне нужен вот такой способ.

* * *

Ну, и вот я стал так жить. Так делать.

Конечно, мне стало понятно, что с электричками лучше так не шутить, а надо что-то еще придумать. И я стал придумывать.

Записался на парашютах прыгать.

Потом еще есть паркур, бэйс-джампинг.

Я многое перепробовал за эти три года.

Видимо, ну вот просто есть породы людей, как породы собак — которым надо экстрим, адреналин, а иначе они закисают становятся такие вот мрачные игорьки

И с тех пор все стало очень хорошо. И как-то я думал то, что я все уже знаю. Про эту жизнь и вообще.

Девушка у меня там другая потом появилась.

А с той мы не то что поссорились.

Просто расстались.
Нормально мы расстались с ней.

А Лера появилась у меня, и вот теперь мы с Лерой.

И мы с ней, я надеюсь, будем всегда.

А с ней связана такая история...

Что мне про нее все говорили и даже в личку писали...

«Да ты знаешь, что она дебилка? Она ходила в школу для умственно отсталых».

Е-мае, ну и что? НУ И ЧТО??

Смешные какие-то люди.

Вот я не понимаю. Если у человека нет такого интеллекта, как у тебя. Это значит, что он какой-то неполноценный, по-твоему?

Да я даже обсуждать это не стал. Просто забанил их, и все.

Как это вообще — так рассуждать.

Нам отлично с Лерой! Я не замечаю ничего того, что о ней другие говорят.

Я не могу сказать, что Лера может брать интегралы. Но она на самом деле УМНЕЕ этих дебилов, которые про нее говорят гадости.

Это человек, на которого я реально могу положиться в этой жизни.

* * *

Куртка вот на мне. Finn Flare.

Вот про эту куртку хочу сказать: неправда, что счастье нельзя купить.

То есть, его, конечно, нельзя.

Но чуть-чуть можно.

Вот куртка — это большая часть моего счастья.

Я ее ношу четвертый год. И до сих пор из нее нитки не полезли.

Хотя говорят Вьетнам шьет для финнов. Да поспать кто там шьет.

Я в ней чувствую себя... Человеком. Максимом.

Я до этого все время зимой замерзал. Ходил в чем попало. В кедах каких-то, ветровках идиотских.

А теперь я зимой гуляю. И я чувствую себя как человек.

Я пошел нормально в торговый центр. В дисконт Finn Flare.

Там висела... эта куртка. На нее была скидка восемьдесят процентов. Так она стоила... не знаю, больше двадцатки.

А так... Так она стоила меньше пяти.

И я купил себе. Вот взял и купил себе!

Когда я ее купил себе

в тот день, точнее в ту ночь

я стал листать фильмы и мне попался фильм «Конформист»

старинный по-моему черно-белый еще

известный это фильм, все смотрели

еще в советском союзе

ну там про эту вот гейскую тему еще немножко

Конечная

мне она не близка но неважно
главный герой

вот главный герой меня цепануло
он очень был похож на меня
в движениях как бы
походка, лицо
и это его как он говорит все время
«я хочу быть нормальным»
а он же фашист, даже он предал и убил своего учи-
теля
в общем он полный мудака, если по фильму

но меня он очень сильно цепанул
он — это я

* * *

я купил себе маркер
и стал ходить по району
и рисовать, ну, там, где видно
разных человечков — ну, таких, как пиктограммы
некоторые там в кепках или с флажками
иногда несколько сразу
идут друг за другом
потом я стал часто встречать этих чуваков
которых я нарисовал на стенах
я вспоминал, как я каждого из них нарисовал
и мне становилось теплее
они стали мне как будто тоже, ну, друзья
я вспоминал разные вещи

Ксения Букша. ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ

когда курил на балконе
или когда спал с Лерой
и я... ну, я плакал

говорят там «нельзя плакать»
а почему нельзя-то — плакал и плакал, кому меша-
ет-то

* * *

я думал, что я все про эту жизнь
знал
а я еще не все про эту жизнь
знал

и я хочу рассказать до конца этой истории
точнее, еще далеко до конца этой
истории

а вот что случилось со мной
зимой счас октябрь
я до сих пор не понимаю, что случилось со мной
зимой счас
октябрь

в общем погода была такая был мороз снег
ничего не поделаешь не попрыгаешь никуда ниче-
го никак
и я пошел короче к электричке своей опять

хотя я знаю что это опасно
будешь там валяться с раскочевряженной башкой

Конечная

а у меня еще температура была высокая перед
этим ну за день
но мне было надо
я чуть Леру не ударил уже
достиг предела уже какого-то
и надо было вмазаться как я про себя говорю

и вот я пришел когда по расписанию
темно дико холодно и снегу столько что рельсов
не видно
и звездочки на небе блестят кошмарно
и я почему-то подумал: ну вот, прощайся с жизнью
паровоз Максим
(почему-то я подумал ПАРОВОЗ Максим — из
мультика что ли
в садике показывали вроде)

и такой я стою жду электричку как будет что будет
не знаю
вот уже должна идти а все не идет не идет

и тут

пилит через пути какой-то дядька, в кроссах, ваще
не по погоде одетый
в наушниках, куртка синяя и велосипедное колесо
на спине
я еще такой подумал: зачем?
мало того что колесо на спине, так еще и зимой
и в пол-первого ночи

И тут электричка из-за поворота
мягко выезжает

Ксения Букша. ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ

плавно как кошка
кугук, кугук
и быстро

а дядька чешет
а дядька чешет себе ТУДА и не слышит ниче не
видит

и я стоял далеко
и я такой КАК ЛОМАНУЛСЯ
тыдыщ!! – грохот звон я ничего не понимаю что
происходит
мы лежим дядька стонет подо мной вяло шевелит
щупальцами я вызываю скорую
ничего не понимаю
холод

мы короче... нас не достало
электричка проехала
и все, и больше с тех пор я

я собираю подписи петиции в интернете
чтобы сделали по-другому с этим переходом
более безопасно
чтобы другие ребята
не могли так перебегать

Мне это уже не нужно
Мне хочется велик себе купить нормальный
Я хочу трюковый велик

Конечная

Я хочу ребенка, трех мальчиков
Хочу еще нормальный телефон фоткать
хочу получить образование
я все хочу

я не знаю, кто этот дядька может он тоже
а я знаю кто я
я — Максим

Максим

14. Красный тазик

Муж говорит: а вечером Вика придет с Матюшкой. И со своим новым приятелем.

Я обрадовалась.

А что за новый приятель? — говорю. — Не как все предыдущие?

Не-ет, — муж отвечает, — он совсем, ну совсем не такой. Он хороший чувак. Понимающий, порядочный. И я за Вику очень рад.

Я тоже осторожно обрадовалась. Вика мне нравилась, мы с ней давно дружили. Но был в ней какой-то... надрыв... несчастное детство... про сестру она рассказывала: что сестра порезала себя «там», совсем порезала, ну буквально все вырезала — своими руками... Да и сама Вика жила... по-разному, в общем, жила. Судьба у нее... Вот сидит Вика спокойно в магазине за кассой, и ее премируют как отличного работника, и делают старшим ме-

неджером, и тут вдруг грузчик всю ночь насилует ее на полу. Да и постоянные мужики... Один обобрал ее и выкинул из машины. Другой набрал кредитов, продал ее комнату. Третий так дал в глаз, что зрение на нем упало до минус десяти. Судьба, короче, какая-то удивительно злобная.

Ну, ладно. Человек старается, выгребает, живет... а теперь новый друг ее Витек — вообще чистый ангел... понимающий, порядочный... и мальчик у нее есть от прошлого приятеля — Матюша, тихий такой, спортом занимается, пловец... наш-то — шепутной, нервный... В общем, дай ей бог!

И я рада, но при этом я мужу говорю: только хорошо бы, чтобы не как тогда получилось. Ну вот когда она привела полную квартиру какого-то народа и все стали траву курить. И не как тогда, в прошлый раз, когда Вика сама заезжала, и выпила вроде немного, а потом из маршрутки выпала лицом вниз. Зубы себе выбила передние, и зашивали ей там что-то — губу или щеку.

Да нет, говорит муж, теперь-то уж точно нет! Теперь у нее Витек есть. И она с ним теперь счастлива.

Да-да, говорю, конечно, какого рожна еще надо человеку, если есть Витек.

Муж на меня так зыркнул и говорит: понятия не имею, чего тебе еще надо.

* * *

Приехали вечером, веселые, мальчишки сразу в комнату — города строить.

Вика говорит: как хорошо ваш с нашим вместе играет! А то с Матюшкой почему-то никто общаться не хочет, все гонят. Тихий слишком, за себя постоять не может.

Витек говорит: я тоже таким был, — и смущенно улыбается.

Витек высоченный, метра под два, белобрысый. Вот, думаю, действительно: повезло Вике с ним! И ребенка любит, сразу видно.

Пиццу заказали. Болтаем о том о сем. И как всегда, пошли откровенные разговоры — ну, это у нас всегда так бывает с Викой. Почему — не знаю даже, тянет в эту сторону, и все.

Началось с того, что Вика рассказала про свою подругу, которая занимает какой-то нехилый пост, и при этом живет она с человеком, который ее называет собачкой и водит на поводке с намордником. В свободное время, конечно. Не на работу. А по субботам они еще ходят в специальный какой-то зал, и он ее там лупит плеткой с крючьями, так что душа, по словам той подруги, натурально вылетает из тела, и вот бы попробовать.

— Не, ну садо-мазо, конечно, это не майо-о-о, — тянет мой муж. — То есть кому-то это, может, и нра-

вится, — он косится на меня, — но я бы так жить не смог!

— А че ты, — говорю, — на меня-то смотришь?

— А то, — говорит муж, — что ты меня чуть сковородкой не убила на прошлой неделе! Большой палец на ноге распух, я рентген ходил делать!

— Ну, — говорю, — я много раз извинилась! И вообще, это же не садизм, а темперамент! Зато у меня язвы никогда не будет, я не коплю в себе переживания. Тебе же нужна здоровая жена.

— Да, «здоровая» — это точно! — говорит муж.

— А вот если я, к примеру, хочу, чтобы меня ебали в жопу, а муж не хочет и заставляет меня так? — говорит Вика. — Тогда как быть?

Мы стали живо обсуждать этот вопрос, поглядывая через плечо в коридор — не бегут ли к нам детишки.

— Удивляюсь я на вас, ребята! — воскликнул наконец мой муж. — И на себя заодно! Никогда не мог бы подумать, что смогу такие вещи с кем-то в дружеском кругу обсуждать!

— Насчет мазохизма, я еще любила раньше, — говорит Вика, — когда хочется себя поругать сильно... Рассказываю разным людям, что творила, только

не как про себя, — у нас тут народ корректный, ну, начинают успокаивать, — а как будто про свою подругу. «Одна моя подруга переспала с двадцатью мужиками за месяц». Ну, тут и слышишь это все: шлюха! Блядь! И достигаешь своей цели. Маневр такой.

— Вот я этому, ребята, и удивляюсь, — говорит муж. — Вот что она говорит, а ты это нормально...

— Я? — удивляется Витек. — А че такого?

— Да я сейчас вообще... асексуалка, — говорит Вика. — Ну, не всегда (смеется). Но по сравнению с тем, что раньше было, уж точно...

— Ну, если серьезно, — говорит Витек, — я про Вику, что там было или не было, все знаю, и мне абсолютно пофиг. Я не ревнивый. Ну, вот чего-то не положили в организм.

— Счастье-то какое, — говорю. — Поделиться? А то у меня многовато.

— А зачем? — Витек пожимает плечами.

— Я сейчас правда ни с кем, — говорит Вика. — Только с Витей.

Кладет руку ему на шею. Садится на колени. Влюбленные. Красота.

— Прямо завидно стало, — говорит муж и смотрит на меня. — Может, я тоже святой?

Конечная

— Неа, — говорю, — у тебя нема поводов для свято-сти. Хотя, если хочешь, могу тебя канонизировать.

— За сковородку.

— Договорились, — говорю. — И кошка у нас евре... — говорю. — В смысле, святая.

— И водка! — вставляет Витек.

— Ну в общем, договорились, у нас тут у всех нимбы, — Вика хохочет.

— Я как с Викой познакомился, а все такие мне ссылки какие-то шлют, «смотри...» — говорит Витек. — Вот нахуя мне это подсовывать? Да смотрите хоть обсмотрите! Это даже и здорово, что есть на что посмотреть!

* * *

Тут мужики покурить собрались, а мы с Викторией на кухне остались. Свет включили. Апрель, вечера темные.

— А я еще в детстве, — говорит Вика, — лет в тринадцать... я решила, что хочу сделать из своей жизни произведение искусства. Мне сказала училка по литературе, точнее, обо мне сказала: «Творческая натура без малейших творческих способностей». А если вдуматься, это так и есть! Живу... яркими

мазками... Все это ужасно банально и пошло, но ничего на свете другого и нет. Люди, города, все вот это вот. А что еще может быть?

— Не знаю, — говорю. — А Витек что?

— А что Витек? Он, если хочешь знать, он вообще... «Да нет, такие, она не замужем, как она может быть замужем — она же святая». Да пошли они все! — и Вика вдруг смахнула слезу. — Мне, знаешь, приснилось недавно... Приснилось, что я с самолетом упала, лежу в пустыне, и у меня руки сломаны, обе, под прямым углом торчат, и кровь на песок льется как из крана. Я смотрю на руки свои, и у меня паника, что инвалидом останусь, и тошнит ужасно. Или снилось еще... Что выхожу из метро, а люди мне навстречу, и вместо лиц у них куски мяса сырого, завернутого в пленку, как в супере...

— Кошмар, — говорю.

А Вика уже и слезы с лица не смахивает.

— А все такие: «какое счастье, что Витек с тобой». Какое счастье, бля. Счастье какое. Счастье. Аленка, вот знаешь... единственный мужчина, с которым я могла жить, это был мой дед. Нет, я не напилась. Нет, я... мне не много... Дед, он у меня ничего не спрашивал. И он меня не жалел. Не жалел, бля. Я поехала бы жить к деду, если бы не счастье, бля, счастье. Еще у меня тетя Лена была, крестная. То есть... она и есть, но я с ней не общаюсь больше. Она, знаешь, добродетельная такая, бля. Мораль-

ная. Шахматный тренер. Решила с подростками в детдоме заниматься. А там... ад. Воспитатель девочек ебет и держит при себе, а соцпедагогиня им рассказывает басни, что ищет «богатых родителей». Кто беременеет, аборт делают. По многу раз. Двенадцатилетним иногда. Я говорю: «Тетя Лена, устройте скандал!» А она мне сказала... типа нет, я лучше буду их шантажировать этим, чтобы хотя бы одного ребенка оттуда спасти. Я не разговариваю с тех пор с ней. Не знаю, взяла она ребенка, нет — меня она не интересуется больше... одну возьмет, а остальных так и будут ебать... А, еще такой сон снился: на мне появляются заломы, как на ткани, каждый залом раскрывается, разъезжается, чуть кровоточит, потом вместо крови начинает *сыпаться песок*. Вот, песок именно сыплется. Тогда в Париже жила, ну, недолго, несколько месяцев, пыталась раскручивать проект один — журнал о кино... Тусовки творческие, пьянки, мужики, отлично все было... вдруг ночью однажды, домой пришла, в ванной смотрю в зеркало на себя, и вдруг такая: я старею, вот морщины, а что, если я стану развалиной, инвалидом, тенью прежней себя. Это мне было... двадцать семь лет... Семь лет назад. В какой-то момент ты садишься в поезд, и он тебя везет. Чем дальше, тем меньше народу кругом, меньше и меньше. И сушь такая вокруг, пустошь... Станции, на которых входят какие-то люди или не люди, мучают... и потом все равно уже, совсем...

Хлопнула входная дверь: мужья вернулись с перекура. Вика встала им навстречу.

- Витек, — кричит, — пошли домой!
- Как? — говорит Витек. — Уже?
- Как это? — говорит мой муж. — Уже? Да посидите еще!
- Нет, — командует Вика решительно. — Матюша! Одеваться! Домой едем!
- Ну мам, мы еще десять минуточек!
- Никаких минуточек, — а сама качается, — никаких минуточек!
- Слышь, Вика, — говорю, — не дури, оставайся. Витек пьяный, ты пьяная. Как вы сейчас поедете? С ребенком. Если только на такси. Мы вам оплатим!
- Ну уж нет! — говорит Вика. — Мы на триста шестой. Она у нас прямо до крыльца.
- Ну уж нет, — вступает мой муж. — Никаких маршруток. В прошлый раз помнишь, что случилось? Такси вызываем, и все.
- Я обижусь, — говорит Вика.
- Да зачем вообще уезжать, — говорю я. — Поздно уже. Матвейка спать хочет. Давай-ка вы у нас останетесь и поспите. А Витек завтра вас заберет. А?

— Отличная идея, — говорит Витек, и видно, что прям с облегчением вздыхает. — Оставайтесь, Вик, а?

— Раз так, то я одна поеду! — кричит Вика. — А Матвея сам вези как хошь! — и в сапоги ногами пытается попасть.

И тогда я ее беру за руку... Черт. Вот. Вот здесь оно и началось. Я ее взяла за руку и стала удерживать.

А Вика стала руку выдергивать и со мной бороться. Пытается, то есть.

А я тогда Вику... Ну, она пьяная, да и вообще... я сильная... в общем, я ее в шутку, ну, в шутку!! — в шутку я ее повалила.

Кстати, я-то и водки не пила.

В шутку повалила и села на нее сверху. Вика бьется. Кулаками по полу стучит и все такое. Истерит здорово. Ну пьяная, абсолютно.

Дальше Витек стал ее утихомиривать. Тоже вроде как в шутку, а я в шутку кричу: «Давай, я ее держу!»

Витек с мужем моим ее взяли и вдвоем в ванную затолкали. Причем в ванной сначала Витек был. А моего не было, это я знаю точно. Моего не было, нет. Мой только заталкивал в ванную. А вот Витек, тот... сначала в ванной был.

Ксения Букша. ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ

А потом он выскочил, мужики навалились на дверь и держат. А там за дверью Вика бьется. Грохот, удары. Что-то Вика крушит, ломает.

Тут я догадалась: красный тазик! Я кричу: Вика, тазик не надо, он молитвенный, наш ребенок молится в этот тазик по утрам! Да какое там.

Мой муж утверждал, что только всего-навсего дал ей два пощечины. Чтобы утихомирить, ну, истерику. Только две пощечины всего, и не более.

Ну, так он говорил. А я не видела. Я к детям побежала, Матвейку успокаивать — мол, все нормально...

Сажу с ними, рисую, читаю. Матвей, бедняга, совсем притихший был.

И потом слышу: тишина.

Дети уснули уже, как я вышла. Витек с мужем на кухне сидят, курят. В ванной красное все от крови было. И обломки красного тазика валяются.

— Господи, — говорю. — Это кто же ее так?

— Сама, — говорят. — Поскользнулась в ванной и нос сломала. Мы ее спать положили в той комнате. Все лицо растеклось. Распухло. Уснула, — говорят.

Так и сказали: уснула.

15. Проспект Стачек. Надя

(аунига был днивник Мамы што она песала всю
жизнь

а мне он Его от даст када мнисполница 14 лет)

* * *

снег етат дибильный достал уже
а как лечили а вот так и лечили и не вылечили а на
работу ходить все равно надо. Глаза красить не
стала, сил не было. Из подъезда попала сразу в сля-
коть и еле дошла сколько тут не знаю полкиломе-
тра по Стачек. Горло дерет, и голоса нет. Жрать не
хочется, курить тоже, постоянный озноб. Надя,
бери опять больничный. И взяла опять. Сразу как
вышла так и взяла. Назад сил не было идти на три-
ста шестой три минуты проехала сорок рублей от-
дала смотрели как на идиотку.
Кроссовки мокрые.
На батарее вон.

Рано вышла, говорят. Отлежишься... Все такие хорошие. А что денег ни копя.

Спинка дивана пахнет Сашкиным потом (сидеть ему до лета)
и уроки проверить неа не смогу

в окне луна — как обсосанный леденец, похоже:
один край прозрачный
сколько ж я уже лежу-то — ужин Дашке хоть какой
и собаку никто не гулял

Даш ты тут?

Мам
тебе плохо что ли

ну я еще не выздоровела как следует
ничего щас грипп такой тяжелый отлежаться мне
надо

а в больнице че не вылечили
ну вылечили но не до конца
просто до конца же долго, а тут у меня ты
ну и вообще может я просто выздоравливаю и мне
завтра лучше станет
я завтра на работу не пойду

мам тебе чегонибудь принести
неа
А да
набрось пуховик на меня

Конечная

(прокуренный пуховик валится сверху, и сразу продурает ознобом от неожиданного тепла. Все равно не согреться, даже под пуховиком)

Дашка ты Бакса выгуляла? что в школе уроки сделала?
смотри, мне сейчас просто не очень а вообще я сама знаешь
ты у меня смотри

там пожарь яичницу себе, я не буду нет яиц? А что есть
понятно
а где взяла
понятно

он тебе сам денег дал?
Даш, я тебя предупреждаю он опасный человек он не так просто тебе дает деньги
ты меня понимаешь

нашаривает сигареты и зажигалку, пытается откашляться

дай пульт
(Дашка приносит ей пульт от телевизора) смотреть телевизор больно, режет глаза, но теле-сияние в воздухе успокаивает Надю
Дашка пристраивается рядом и делает вид, что пишет что-то в тетрадке.
Узоры на диване склеиваются.
Надя делает вдох поглубже. И холодно, и отчего-то воздуха не хватает.

* * *

Наутро приходит крестная. Вваливается, веселая: ну, Надюша, я тебя сейчас буду лечить! Отпросилась с работы!

Ставит все на стол. Меда банку. Творог в пакете. Жир какой-то. Барсучий. Водку. Не пить, натирать. Йогуртов Дашке. Это сколько ж потратила. Надя смотрит как из-под воды. Спина болит, как будто вся — синяк. Никогда так не болела.

(Ночь была трудная. Помру, поняла Надя в ту ночь, и тихо плакала. В больнице две недели. Дашка в школу не ходила. И толку. Еще хуже стало. Выписали без улучшений. Форточка, которая не закрывается — перекосило от грязи, — впускает в комнату много чистого воздуха. Надя полулежит на спине. Всякий раз, как проваливается в сон, начинает не хватать дыхания. И от паники тут же просыпается в полубреду. Ей мерещится Вырица, лагерь школьный, хохот и беготня, но бежать нет дыхания, она во сне садится на корточки, и зеленые пятна перед глазами, и подол — Надя прикладывает к лицу — в красных пятнах.)

Вещи в комнате оставались теми же: расположение их не менялось; вон торчит коричневая помада, вон сидит плюшевый дракончик, это — будильник, то — зеркальце; освещены фонарем пятна оборванных обоев на стене; рядом спит дочь; а вон у дверей ботинки и ведро, в котором гниет

Конечная

картофельная шелуха, а на полу валяются остатки бутерброда и дремлет грустный Бакс. Все нереально, все как на картинке.

Крестная уходит ближе к вечеру — у нее мать парализованная, долго она не может. К шести Надя решается доползти не только до туалета, но и до кухни. Пожарить Дашке хлеба с яйцом (тоже крестная приволокла). Хватаясь за грудь, сгибаясь и приседая поминутно, жарит. От запаха почему-то тошнит. Надя давно уже ничего не ела. Странно почему же так плохо и температуры вроде почти нет — тридцать семь и два — и кашля нет, а так плохо что просто плохо плохо и плохо

и тоска такая в груди прямо засела
и Надя жарит хлеб с яйцом и плачет почему-то
она сама не знает почему

а внутри у нее — такая цепочка:
Дашка любит хлеб с яйцом — я
люблю Дашку
а больше никто не любит Дашку ну крестная да но
крестная сама на ладан дышит
а я скоро помру, и кто же
будет Дашке хлеб с яйцом-то

* * *

скорую, скорую вызывай, — скороговоркой крестная в трубке
приедут — посмотрят — скажут что и как

а ты антибиотики сколько уже пьешь
как прописали пью десятый день уже
это вторые уже — те кололи которые в больнице те
были первые
и не лучше?
нет, не лучше, хуже
вот это все им и скажи! Вызывай сейчас же! Ты
имеешь право!

У Золушки тоже была фея-крестная. Помогала здорово. И у Нади есть крестная. И помогает здорово. Когда Наде тринадцать было, взяла ее к себе после смерти матери, и Надя в детдом не попала. А в шестнадцать уже Надя работать пошла и замуж. Но жизнь такая на Нарвской заставе, что никакая фея-крестная не справится. А тем более что у Нади никакая крестная не фея. А живет в комнате тоже девять метров, даже меньше, чем у Нади с Дашкой. И у крестной мама парализованная, а сама крестная раком болела уже.

Какие феи тут на Нарвской заставе.

* * *

Скорая поднимает Надю — осмотреть. Надя не может толком встать. Ей и сидеть-то трудно, задыхается. Сразу падает обратно. Резкая боль в груди, в спине.

Ну, это надо в больницу опять ехать.

Надя начинает плакать.

Что же они делали две недели. Что они там лечили?

Конечная

В какую больницу у меня ребенок его крестная
брала уже не сможет взять
там у крестной мама парализованная
крестная не может же

нет надо ехать говорит скорая и звонит

а Наде уже все равно

она звонит крестной, получает какие-то слова да-
лекие в ответ
(а Даша в школе)
не слышит их, а слез нет, больше уже Надя не плачет

она собирает последние силы, садится на кровати
и натягивает рейтузы
очень грязные, пахучие — когда стирать-то было,
и кто бы мог это сделать, и сил не было совсем
но это все равно. И надевает чистый черный сви-
тер со стразами на груди. Дышать нечем, но Надя
уже привыкла, и теперь ей даже немного лучше
(это потому что температура поднялась).

И она встает
и она надевает растоптанные черные дутики
и пальто — документы надо, терпят ее, но Надя не
может, она почти теряет сознание

да не дергайте ее, говорит медсестра доктору

они выходят на улицу. Там уже не слякоть, а, ока-
зывается, сильный мороз. Идти недалеко, скорая

припарковалась у самого подъезда. Наде помогают влезть внутрь, и она то ли ложится, то ли падает на лежак. Скорая трогается, и тут Надя вспоминает, что не взяла сумку

сумку забыла, — кричит Надя, то есть ей кажется, что она кричит, а на самом деле она медленно и слабо произносит эти слова, так что у нее стучат зубы, и она задыхается, и с каждым вдохом на лоб наплывает багровое и черное пятно

* * *

а потом уже и нет никакой Нади
потом, когда они уже приехали и ее уже привезли
и положили в коридоре под капельницу, из которой струится лекарство
у Нади есть еще пара часов, чтобы вспоминать,
в перерывах между приступами удушья, как в детстве она делала из этих трубочек рыбку (много валялась в больницах: аномалия почек)
но перерывов все меньше, и вот уже нет никакой Нади
а есть оскаленное, осунувшееся лицо, и синие губы хватают воздух — ее переводят в реанимацию
есть дыра на рейтузах... ее переворачивают, рейтузы спускают, чтобы поставить катетер, и это последнее, что чувствует Надя: холод (голые бедра на клеенке) и боль

Конечная

А дальше уже темнота, белый кафель и белые лампы. Багровое черное пятно наплывает на лоб, и больше ничего.

* * *

сиводня я делола ицничу с хлебом как делола Мама амне ана (мам ася) скозала что не розбевай ичо пока скаворотка ненагрееца ая скозала я сама знаю лутше как делола Мама потомучто эта была моя Мама единстеная а ты мне немама и не когда небудеш

(Вы, конечно, тоже хорошо делаете яичницу, и очень вкусно! Но просто это рецепт, по которому моя мама всегда готовила. Он даже у нее в книжечке был записан. Только мне эту книжечку дядя Саша пока не отдаст. Потому что он сами знаете где. А он мне ее отдаст, когда мне будет четырнадцать лет. А когда мама болела, то эта книжечка завалилась за диван. И дневник мамин тоже дядя Саша мне отдаст, когда его выпустят. Ничего не подгорит, я очень хорошо и правильно все делаю.)

16. Регина и смерть

На станции Лигово Регина колеблется: не пересечь ли в триста шестую. Время пробок вроде прошло, а в метро не хочется. Но голова так болит, что Регина остается на месте.

В вагоне появляется продавщица мороженого. Тащит сине-белый ящик с товаром. Толстая молодая девчонка в резиновых шлепанцах, с густыми волосами и кустистыми бровями, в широких коротких штанах с завязками, в стеганой жилетке. Руки у девчонки сплошь в белых широких шрамах. Ниже локтей, выше запястий – напрочь изрезаны. Полосовала в иступлении, глубоко и резко. Не меньше шести шрамов на левой руке. И на правой тоже шрамы. И говорит: мороженое, стаканчики: сливочное, крем-брюле, пьяная вишня, эскимо «Фараон», «Балтийское», «Ля Фам», картошка, фруктовый лед, пожалуйста, кто желает.

Регина Маркова, креативный директор рекламного агентства «Рефлекс», изящная, с пестрыми перьями волос, с красивым строгим лицом, в кружевном сине-желтом балахоне, открывает глаза. В глаза сразу бьет солнце. Голова болит отчаянно. Но Регина не щадит себя. Тебе не плохо, думает она. Тебе никогда не бывает по-настоящему плохо. (Марков поехал на машине, Регина часто ездит на электричке. Пробки.)

Регину одолевает дрема. Видятся ей зеркала, и сыпучие барханы, перетекающие друг в друга, как те выжженные холмы за окном, черно-зеленая прошлогодняя трава и пепел. Сон такой явный, такой мучительно четкий, угрожающий.

Вдруг парень с велосипедом, нарушая молчание, говорит: видели, какие у нее шрамы? Вот, у меня тоже примерно такие. Несчастливая любовь была.

— Дураки вы, ничего не понимаете, ценность жизни (старуха инквизиторского вида, с квадратной челюстью, не отрываясь от «Панорамы»).

Регина сидит неподвижно. Ей невыносимо хочется заглянуть в «Панораму», что читает тетка, позволить себе прочесть хоть две строчки. Но нельзя — и она закрывает глаза.

— Да я просто хотел себя почувствовать, — парень с великом. — Себя не чувствовал, хотел испытать.

— Ну и как? Почувствовал?

— А че, почувствовал. У моей, — говорит он, — подруги тоже шрамы на руках. Вообще, у меня человек шесть знакомых руки резало.

— Идиоты, — отрезает старуха с «Панорамой». — Я психиатр, у нас таких идиотов полный дурдом.

— Ну, зачем же так категорично, — парень с велосипедом. — Вы такого не переживали, но это не значит.

Регина, закрыв глаза, видит перед собой эти шрамы. Схватила нож и расплосовала себя вкривь и вкось. Лезвие вязло в мягком и тугом. Даже не убить, а уничтожить. Не ярость, а отвращение. Поезд ускоряется мимо сине-серых небес, самолетов, изрисованных гаражей. Продавщица уже ушла со своим ящиком. Барханы... выжженная черная зелень... противное пиликанье в ушах, откуда только берутся эти звуки, насыпаются, будто мир их через тебя просеивает. Как же болит голова.

Солнце не оставляет на лицах ни тени. Электричка огибает Можайское озеро, вагон кренится, поскрипывает. Раздвижные двери, ведущие в тамбур, съезжают на одну сторону.

Старуха-психиатр складывает «Панораму» и говорит, как бы уже и не парню, а себе:

— Вам жить, значит, не надо? Так отдайте мне тогда свою жизнь, я бы еще пожила. Я-то умирать не хочу.

— А что это вы умирать-то собрались.

— Да я не собралась, молодой человек. Я не собралась. Но врачи, они нынче, знаете, люди очень откровенные. Так прямо и говорят: «У нас таких, как вы, целое кладбище». И «при вашей стадии, — говорят, — пятилетнее дожитие — шесть процентов». А я уже три года корячусь. Вот так, молодой человек.

Регина открывает глаза: а старуха-то в парике, как это она не заметила. Несгибаемая старуха в белесом парике, без бровей, с суровыми складками вокруг рта и носа.

Парень с великом несколько растерян. Он говорит первое, что ему приходит на ум: может, еще выкарабкаетесь? Нет, разоружает его старуха. Увы. Можно только отсрочить. Я стараюсь, но получается так себе. Лекарства в свободную продажу не поступают, а квоты только если моложе пятидесяти. А мне уж шестьдесят годков. Так прямо и говорят: все, только молодым. А вы как хотите. Крутили деньги перед выборами. Месяцами лекарства стояли на таможене. Задержали мне химию — из-за этого метастазы у меня. Люди мрут тысячами, — она поджимает губы. — Уж если вы декларируете, что обеспечиваете лекарствами онкологических больных, — так не врите и обеспечивайте. У меня

лекарство стоит двести тысяч за курс. Я его куплю сама, как вы думаете?

Парень с великом только кивает. Регина не выдерживает и выходит в тамбур. Ее бьет дрожь. Продащицы мороженого, та самая девчонка со шрамами на руках и другая, женщина постарше, сидят на сине-белых ящиках.

Девчонка со шрамами:

— Кормить какого-то там мужчину — на фиг надо. Я и так папашу кормлю. Причем он постоянно еще требует: корми меня, корми! — девчонка задорно фыркает. — А почему я должна его кормить?

— Он твой отец. Все-таки тебя вырастил.

— Он меня не вырастил! Я в детдоме росла! Он алкоголик, пьет все время.

Электричка плывет, покачиваясь, в волнах солнца. Подумаем о работе. Где бы найти фрезеровщика, чтобы «Флорион» могли печь фирменные вафли с логотипом? И дрожь продирает Регину: Господи, чушь какая. Какая бессовестная, чудовищная чушь. Почему она занимается рекламой? Кому это нужно? Да еще и обманывает себя: дескать, наше агентство — единственное — делает рекламу *дружью*, не такую оголтелую, рекламу человечную, забавную... поднимает людям настроение, улучшает атмосферу... Какую атмосферу ты собралась улучшать, Регина? Вот эту? — Она вздрагивает, как от

удара, притискивает заостреннейшей рукой сумочку к боку и смотрит в окно, как будто надеется найти какой-то ужас там, но там как раз совсем не ужас, там пацан гладит овчарку, и бьет из водокачки под напором прозрачная веселая вода, и пыльные дорожки уводят вдаль, и синее, совсем весеннее небо все синее и синее, и весело разгоняются электрички, разминувшись на станции.

Когда отец умер, было тринадцать лет. Дала себе задание: перевести все сонеты Шекспира. Каждый вечер садилась и переводила один сонет. Как та японская девочка с журавликами, только наоборот. Ну почему мы с Сенечкой так поздно встретились. Насколько больше могло бы быть счастья. Дети могли бы. А теперь я того и гляди помру, и что я тогда делать буду. Со своей прекрасной рекламой, которую я делаю. Которой я служу. Все, успокойся. Успокойся и найди в окружающей среде как можно больше букв латинского алфавита. Чем Регине хуже, тем примитивнее, механистичнее задания, которые она сама себе предлагает.

Молодой человек за спиной Регины вытаскивает велосипед на платформу.

Заносит ногу, прыгает в седло.

Едет.

* * *

На набережной Невки — шоу скрытой камеры: дама в красном рассказывает с мегафоном, бесцере-

монно пристаёт к женщинам и вручает им красную коробочку — «ежемесячный бонус от матери-природы». Это Регина придумала: будто бы пародия на рекламу мобильных, а на самом деле — партизанский маркетинг тампонов «Марлен». Женщины хохочут, хлопают в ладоши. Мужчины от смущения остроумно шутят. Марков прыгает сбоку с видеокамерой — сегодня же выложит в интернете вирусное видео. Регина наблюдает.

Вот парень и девушка спешат по гранитным плитам вдоль газона. Приветствую, дорогие мои! — щебечет дама в красном, подлетая к парочке. — Спешу вручить ежемесячный подарок от матери-природы! А что внутри? — Красная дама поворачивается к молодому человеку: почему это происходит всегда перед выходными, а? А-а, ясно! — молодой человек смущенно хохочет, прикрывая рот рукой. Девушка развязывает бантик и ахает. Теперь они поняли, что это реклама, но такая элегантная, что не только не вызывает ни малейшего раздражения, а радует, веселит, поднимает настроение.

Марков снимает. Холодное солнце светит, дует северный ветер. Невка сияет ослепительно-черным блеском, сверкают над ней окна бизнес-центров, башен, аквариумов. Вышка высится, грохочут грузовики через Кантемировский мост. Примите подарок от матери-природы! — Девчонки хохочут. Одна из них, беременная, протягивает руку. Нет, это не для вас! — и дама в красном делает предупредительно-негодующий жест.

Марина Леонидовна, дама в красном, честно отрабатывает: женщина, вы в командировке? Хотите подарок от матери-природы? Честное слово, не пожалеете! Нет, спасибо, мне сейчас как-то не до этого... Диктор на вокзале, вот она кто на самом деле. Уважаемые встречающие, не подходите к краю платформы. Регина давно ею восхищалась, ее заприметила. И однажды пошла к администрации — мне нужен этот ваш голос, познакомьте меня с ней. Раньше преподавала сольфеджио детям в музыкалке. Голос бархатный. Нарасхват. Не нужно?! — Марина Леонидовна всплескивает руками. — Да я бы сама взяла, женщина! Сама бы взяла — давно уже не предлагают, к сожалению!

Регина судорожно вздыхает и отходит подальше. Теперь Марину Леонидовну не слышно. Видно только, как Марков балансирует посреди сухого газона, ветер сносит. Процессия в красном удаляется по набережной. Солнце зашло за облако, и все кругом — набегом, волной — пожелтело, поблекло; хрупкая еще весна, еще не весна, а так. Солнце из-за тучи и из-за башни выходит с другой стороны. Бухает пушка в крепости. Полдень. Проспект стоит, помаргивая, в пробке.

* * *

Ночь. Почти полночь. В палате частной клиники косметической хирургии с броским названием «Эгоистка» (придумала Регина) темно. В палате — шесть дам накануне операции. Удлинить ноги.

Сделать грудь. Подтянуть лицо. Такие вещи. Возраст дам... о возрасте не будем. Если точнее, дам накануне операции не шесть, а пять; шестая Регина, и она операцию делать не собирается. Она только прикидывается жертвой красоты. Все, что ей нужно, — это понять клиентов своего клиента. Она должна узнать от женщин ту истину, которую потом им же и будет продавать в новой рекламной кампании.

Теперь она лежит и жалеет только, что не может ни включить диктофон, ни записать инсайты в блокнот. Приходится полагаться на память. Сказано уже много интересного. Например, что счастье — это ящик шампанского и несколько чужих мужей. Что перестараться невозможно. Что я в послевоенном детстве шарила под скамейками в поисках черствых горбушек, которые кидали голубям. Что рисовали колготки сеточкой (это Регина тоже помнит). Что жвачку жевали по очереди (а эти уже помоложе). Что дети сволочи, а внуки ангелы. (У Регины ни детей, ни внуков.) Что Париж внутри. Что вокруг глаз должно всегда сиять, и тогда можно говорить все что угодно. Что черная помада все равно что белая. Что носить старость надо так же, как молодость. Что главное, девчонки, с ума не сходить. Что про секс больше никто не думает, и это так странно — раньше, когда было нельзя, все только и. И что есть такой сайт, на котором нужно соблазнить случайного мужчину на скорость. И что удлинение ног — это большой риск, но где наша не пропадала. И что

ложка сахару с утра сильно скрашивает жизнь.
И что...

И Регина тоже, чтоб не спугнуть инсайты и не показаться подозрительной, время от времени тоже подбрасывает дровишек и ловит себя на том, что увлекается. Ей ведь тоже есть что сказать. По легенде, она собирается подтянуть веки и сделать коррекцию овала лица. Ну, веки действительно можно было бы и подтянуть — если бы Регина не отнеслась к пластике с королевским презрением. Однако это-то вот презрение ей и надо преодолеть. И вот Регина рассказывает, как она, яркая, ярчайшая брюнетка, бывшая балерина, трагически поседела. А на краску для волос у нее аллергия. На любую, даже гипоаллергенную. Хорошо хоть, что по правилам краску сначала наносят на руку. Рука распухла, как подушка, скорую пришлось вызывать. А седина-то никуда не делась! Закрашивать надо... Пришлось стать разноцветной — подошел только тонер для молодежных вечеринок... Регина засыпает. В темноте слышится вздох, а потом инсайты продолжают.

* * *

Марков готовит мясо и ждет Регину.

Они оба любят готовить, оба готовят со вкусом. Оба ценят хорошую гастрономию. А Регина еще и хозяйка хлебосольная. За столом — а гостей у них бывает до сорока, до пятидесяти желуд-

ков! — Регина всегда стоит. Как восточная хозяйка. У всех ли все по бокалам, по тарелкам? Все ли едят, никто не грустит? Разговоры ведутся, шашни плетутся?

«Регина! Вы всегда такая веселая!»

«Ну, я просто все время что-нибудь сочиняю».

И она действительно все время придумывает что-нибудь. Не рекламу, так книгу пишет. Не книгу, так в слова играет. Впечатлительная она очень. Потому и вечные шутки, выдумки — чтобы отвлечься. Такая ось, вокруг которой она весь мир закручивает, чтобы не остановился и не рухнул. Только бы пожить вместе подольше. И как обидно, что старость! Она заслужила еще хоть чуть-чуть. Честное слово, такая жизнь у нее была, что вот хоть сейчас, хоть немножко. Как они поздно встретились, как это безумно обидно.

Погода за окном портится. Дом Регины и Маркова стоит на пригорке, вроде бы невысоком, но странно обзорном, панорамном. Внизу простираются серо-зеленые поля сухой прошлогодней травы. Светящиеся точки машин несутся, огибая холм, по темному шоссе. Затихли голые, ветвистые рощи. Пахнет дымом. А на небе разворачивается баталия, морская битва, темные и светлые водовороты сходятся там, высокие башни различных сил строятся под воздействием незримых ветров, и единственная звезда мерцает над горизон-

том. Темно внизу, на земле, но как вверху светло! — думает Марков. Его знобит. Он накрывает на стол. Ставит бокалы. Мясо давно готово. Салат тоже. Душистые кренделя. Розы. Их ожидает блестящее будущее. Они еще совсем не старые, в Европе жизнь после пятидесяти только начинается, а уж они-то живут в Европе, они создали Европу вокруг себя, они храбро шествуют под руку сквозь черный лес (вишня с корицей), поочередно зажмуривая глаза, они прагматичны и романтичны одновременно, и у них есть главное — любовь, сильная, настоящая, и вдохновение, которое сметает все преграды.

Марков смотрит на часы. Сердце у него колотится, он волнуется. Он пытается успокоить себя, но мысли путаются.

В скважине ворочается ключ. Дверь открывается. Регина переступает порог дома; ставит пакет на пол; зонтик в угол; сумку на подзеркальник. Морщась, стаскивает туфли.

— Прикинь, на завтра снег обещали. Похоже на то. Холодина страшная. Зачем я туфли надела? (возбужденно). Замерзла, как цуцик. Точно, снег будет, там на небе, я ехала, такие краски.

— Молодец, молодец! — обнимает ее, поднимает пакет и несет на кухню разбирать. Заглядывает внутрь: — Ну, Регина, мы с тобой как всегда!.. Ты багет, и я багет! Ты апельсины, и я апельсины!

— И коричневое печенье?

— Нет, печенье нет. Слушай, а они хоть тебе сказали, что это может быть? — внутри вдруг неприятно екает: а вдруг она врёт, успокаивает его.

— Тайна жизни и смерти, — Регина из комнаты, стягивая платье через голову. — Медицинская загадка. Тянет на Нобелевку. Почему у Регины болит голова. Мир просто что-то сказать мне хочет, а я не хочу этого слышать, вот и болит.

Марков откупоривает вино и ждет ее, слагая в уме комплименты. Внезапно его осеняет: зажечь свечу! Поверхность жареного мяса сочно блестит, на зелени капельки, прозрачный бокал запотел, лед обжигает пальцы; Марков режет хлеб, корочка ломается под ножом, он достает масло, он ждет — где же Регина, что она все шуршит там в комнате, пойти, позвать ее!

Регина сидит на краешке дивана в красивом домашнем платье, накинув шаль на плечи, и смотрит в пустоту. Марков садится рядом, обнимает ее.

— Ну, ну. Ладно. Ладно.

— Там все эти женщины...

— Где?

Конечная

— Да там, на Песочной, в НИИ онкологии... Тетки молодые совсем... и дети... — Регина всхлипывает ужасным, длинным всхлипом человека, который никогда не плачет. — За что вот: мне повезло, а им нет? За что? — пищит она, срываясь на шепот, прикусывая хвост своей длинной шали. — Почему твой сын умер, а я живу? Сеня, у меня нет детей, зачем мне жить. Сеня, я хочу сдохнуть, а у меня никакой опухоли, никакой аневризмы... я буду жить вечно и вечно мучиться...

За окном стущается мрак. Но на небе светло по-прежнему. Сами ли небеса прозрачны, как стекло; а может, то город за горизонтом подсвечивает высокий, незримый рай своим страшным сиянием.

17. Бабушка

Поначалу свекровь волновалась сдержанно.

Бродила по детской, заглядывала в ящики, качала головой, глубоко вздыхала. Нерешительно замирала, будто хотела что-то спросить. Но молчала. Только тревожно таращила на Катю голубые глаза.

— Не волнуйтесь, Анна Филипповна, — успокаивала ее Катя.

Сама-то она нисколько не волновалась. У Кати все было под контролем. Контракт на роды, кокосовый матрасик, кондиционер, погремушки и схваткосчиталка в гаджете.

— Да как же не волноваться, — отвечала свекровь. — Первый внук-то. И поздний какой. Уж думала, и не дождусь.

Но как-то неубедительно у нее выходили эти слова. Свекровь волновалась редко. Сдержанная, ску-

тая на эмоции, Анна Филипповна в свои семьдесят пять была кремень. А теперь Катя, глядя в ее пронзительные глаза, чуяла что-то странное, а что — не могла выразить.

* * *

Настал день и час родов. Катя и тут оказалась готовой абсолютно ко всему.

— Отличное раскрытие! — оживилась акушерка. — Молодчинка! Правда, для первых родов быстровато. Поскорее пройдемте в родилку.

Муж поспешил следом. Контракт не подвел: родилка не только сияла чистотой, но и радовала уютом. Впрочем, Катя легко смогла бы родить и в поле. Пару часов они просто развлекались: имбирный чай из термоса, шоколад, массаж, джаз и ароматические свечи. Даже в самых гламурных родах, однако, наступает момент, когда пословица «баба родит, смерти в лицо глядит» приобретает некоторый смысл. Дитя оказалось необыкновенно крупным и в какой-то момент чуть не застряло.

— Катя! — кричала врач. — Давай... нет!! Не-ет! Куда... Куда!.. А вот теперь — нет, вот теперь — давай!

Акушерка металась по родилке с инструментами и полотенцами, а муж чуть не забыл в нужный мо-

мент включить видео. Катя, однако, старалась изо всех сил, и все получилось как надо.

— *Пять пятьдесят*, — сказала акушерка, снимая мальчика с весов.

— Проверить ему сахар! — распорядилась врач.

— Это нормально, — подала голос Катя, — я тоже родилась больше пяти кило.

Муж стоял в столбняке, наблюдая, как космически-фиолетовый сын лезет вверх по Катину животу. Все участники процесса выглядели счастливыми.

И в эту минуту раздался голос от дверей:

— *Все кончено?*

Акушерку, врача и мужа как громом поразило. В дверь заглядывала просидевшая все роды в коридоре Анна Филипповна. И сформулировала она именно так, никому не послышалось.

— Да что вы, Анна Филипповна, все только начинается! — нашлась Катя.

А акушерка добавила спроста:

— Типун вам на язык, бабушка!



Так и пошло.

В тот день свекровь осталась в роддоме и с тревогой наблюдала за тем, как Катя кормит Степу. Молока пока не было, Степа срыгивал багровой водичкой — успел напиться околоплодных вод.

— У него кровь из ротика, — сообщала свекровь Кате. — Точно все в порядке? Не надо ли сделать УЗИ?

— Все в порядке, — уверяла Катя сквозь сон.

Ей хотелось отдохнуть, но вопросы свекрови пока умиляли, а не раздражали — хотя, конечно, мамин воркование по скайпу из Екатеринбурга нравилось Кате больше.

На следующий день набежали осматривать врачи. Степку слегка раскритиковали. С каждым специалистом Анна Филипповна заводила длительные беседы. Вскоре врачи не знали уже, как отделаться от тревожной бабки.

Посочувствовала Кате даже санитарка, симпатичная тетка по имени Тоня, которая постоянно шутила и болтала со всеми мамочками:

— Да уж, бабушка у вас прям так волнуется... А вы не волнуйтесь! Парень у вас зашибись! У нее, наверное, первый внук?

— Угадали, — вздохнула Катя.

На третий день Степку забрали на несколько часов полежать под лампой, и свекровь немедленно напомнила Кате о судьбе мальчика Матвейки, который почти насмерть обгорел в роддоме, когда от лампы вспыхнула одноразовая пеленка. Потом от него под давлением врачей отказалась мать — тоже, кстати, Катя! — и вот о нем спорили две приемные мамы, в «Новой газете» об этом писали — а теперь его усыновила какая-то четвертая... и, конечно, очень трудно... потому что он весь, весь...

Тут уже Катя не выдержала:

— Анна Филипповна, — сказала она, — слушайте. Вы же такая, ну, бодрая, энергичная всегда. Ну вот чего вы нагнетаете? У меня, между прочим, тоже первый ребенок. Ну, хотите — подите посидите там, рядом с лампочкой, чтобы никто не обгорел!

Анна Филипповна расширила голубые глаза, сделала рот гузкой и ответила:

— Я? Я — ничего. И да, ты права — я действительно пойду туда и посижу с твоим ребенком...

Кате стало неприятно. Впервые за два года они с Анной Филипповной разговаривали вот так.

* * *

На пятый день их выписали домой. Выглядел Степка первое время негламурно, как потерпев-

ший. Но постепенно мордочка обрела нормальный цвет, гормональные прыщи сошли, головенка стала круглой. Младенцем Степка оказался требовательным, Катя частенько не высыпалась, но на судьбу не роптала.

Под конец двадцать первого дня Степкиной жизни Катя, дождавшись мужа с работы, пошла принять душ и выпить горячего чаю. Муж ходил с голым Степкой по комнате, подбрасывая его и напевая. Внезапно песня прервалась. Когда Катя допила чай и пришла сменить мужа, Степка лежал на диване, а муж внимательно разглядывал его.

— Катя, — окликнул он ее. — А что у Степана с яйцами?

— Порядок у него с яйцами! — гаркнула Катя, как фельдфебель. — Хватит докапываться!!!

Муж ошарашенно воззрился на нее. Катя никогда не повышала на него голос.

— Ты чего?..

— Чего-чего! Ничего! Дойдешь тут с вами! Кого угодно доведете! — сказала Катя потише.

Муж догадался:

— Что, бабушка опять в гости приходила?

— Точняк.

Муж вздохнул:

— Прости. Сам не понимаю, что с ней такое. Волнуется чего-то.

— Да она не волнуется, — сказала Катя. — Она *кафкает*. Бред какой-то! «Кать, а он у тебя дышит?» Блин... Если бы я суеверная была, честное слово, подумала бы, что сглазить хочет. Истории всякие рассказывает жуткие. Из «Новой газеты». Анализы мы сдавали, она в них так и впилась! Когда оказалось, что все нормально, она вздохнула, честное слово, прямо с разочарованием!

— Ну-у, — протянул муж, — это уж ты преувеличиваешь...

— Нет! Честное слово, нет! Слушай, — Катя часто заморгала, — я не могу больше. Высыпаюсь плохо, а тут еще Анна Филипповна, ты меня извини, пожалуйста, а можно ее как-нибудь... чтобы она... как-то... ну... пореже здесь бывала, а?

— Обидится, — сказал муж. — Давай я с ней лучше, ну, поговорю. Объясню как-то.

— Попробуй.

— Постараюсь, — пообещал муж.

* * *

Муж постарался. И Анна Филипповна на следующий день тоже очень старалась.

— Катюша, — сказала она почти так же бодро, как раньше, в добабушкинскую пору, — скажи мне честно: ты устаешь? Недосыпаешь?

— Есть такое дело, — ответила Катя.

Анна Филипповна отвела глаза:

— А скажи, Катя, нет ли у тебя послеродовой депрессии? Тебе не приходят в голову такие мысли — чтобы, вот, с ребенком что-то сделать? А то вот я сюда в триста шестой ехала, так там одна женщина рассказывала, что такой случай... Ой, извини, я же обещала...

— Не приходят, — ответила Катя и едва удержалась, чтобы не добавить: «...А вот с вами я бы уже, пожалуй, с удовольствием расправилась». — И депрессии нет.

— Да-да, прости, пожалуйста, — кротко кивнула Анна Филипповна. — Но ты же недосыпаешь, так? Я могла бы тебе помочь.

— Отличная идея, — сказала Катя. — Помогите. Я сейчас Степку одену как для прогулки, положу в колыбельку и колыбельку на подоконник поставлю, окна открою, а вы тоже оденетесь и с ним посидите, посторожите — идет? А я тем временем в соседней комнате подрыхну. Он так может часа два проспять. Два часа сна для меня — это просто роскошь, я буду вам дико благодарна. Ага?

— Конечно, — еще смиреннее согласилась Анна Филипповна. — Посижу.

Катя одела Степку, укачала его и уложила спать в люльку, а люльку поставила на окно. Анна Филипповна надела пальто, сапоги, шапку, взяла журнал и села возле Степки в кресло, а Катя пошла спать.

* * *

Ей снился неприятный сон.

Какая-то глухая, безводная, жаркая сторона снилась Кате. Высохшие кусты и раскаленная земля. Ручьи в огромных речных руслах. Палящее солнце и фиолетовые круги то ли на небе, то ли перед глазами. Желтая, коричневая трава. Черные кости на земле и чей-то зов за спиной, переходящий в вопль страдания.

— Кааатяааа! — визжала в комнате свекровь. — Каа-тяааа!

Катя в ужасе вскочила и ринулась в комнату. Вывалился!

На ледяном ветру из черных окон (успел наступить вечер) свекровь стояла посреди темной комнаты, крепко прижимая к себе люльку с одетым Степкой, который тоже дико орал.

— Что?! — Что случилось?! — Катя выхватила у нее люльку и мгновенно убедилась, что с ребенком все

в порядке. — Господи, КАК вы меня напугали!.. — Катя зажгла свет и увидела, что лицо свекрови залито кровью и слезами.

— *Ворона!* Огромная! — рыдала свекровь. — Она ему чуть глазки не выклевала!.. Я с ней дралась, — Анна Филипповна всхлипнула, — не делай так больше никогда, никогда... не ставь люльку на окно, умоляю тебя...

— Слушайте, но это же ужас какой-то... Я все время на окно люльку ставлю, сижу тут, слежу, и ни разу никаких ворон... Что же это такое...

Анна Филипповна скрючилась в кресле. Она даже не пыталась вытереть лицо.

— Чуть глазки не выклевала, — проговорила она чуть слышно.

Катю трясло. Степка у нее на руках заливался криком.

* * *

— Да, что-то не то, — признал муж, когда вечером они, уже без Анны Филипповны, ужинали на кухне. — Страшновато мне. Не понимаю, что с ней происходит. Она же меня-то вообще не нянчила. Я в больничке два месяца без нее пролежал, а потом в ясли сразу. Она и младенцев-то живых не видела толком, не знает, какие они бывают.

Катя молчала. Степка наконец уснул, а с нее, как назло, сон слетел.

— И теперь мне неприятно очень, — продолжал муж. — Не только из-за тебя. А потому что я чувствую, что это все не просто так. За этим что-то стоит, только я не могу понять что. И спрашивать не хочу. Боюсь спрашивать.

— Скажи, — сказала Катя, — а ты в субботу сможешь со Степкой побыть часика два?

* * *

— Это ты меня прости, — сказала Анна Филипповна и посмотрела в окно. — Знаю я, конечно, в чем дело. Чего уж тут не знать. И она взяла еще одну конфету.

Ну вот, подумала Катя, стараясь, чтобы зубы не стучали. Сейчас расскажет. Скорее всего, у Анны Филипповны был старший ребенок, и он умер. А может быть, она сделала огромное количество аборт. Ну, что же.

Но Анна Филипповна молчала.

— У вас были и другие дети, — сказала Катя тихонько. — Или... могли быть. Да?

— Нет, — ответила Анна Филипповна, глядя в окно.

Конечная

Катя не поднимая глаз рылась в телефоне. Ей пришло на ум, что пора наконец удалить схваткосчиталку.

— Хорошо, что ты без Степки приехала, — сказала Анна Филипповна наконец. — В сорок седьмом отца забрали, а нас с мамой депортировали. Вытряхнули прямо на голую землю. Мне восемь было, а брат — младенец крошечный.

Анна Филипповна взяла еще одну конфету — последнюю.

— Зима. Землянки рыть в промерзшей земле. Костер жгли, у костра спали. Местные нас не кормили — боялись, да и сами голодали. И вот как брат помер, то мы его тогда съели. Мать ела, и я ела. Вот и все.

18. Конечная

Когда мама умерла, я в ту же ночь выкинула все ее платья, кроме трех. Я взяла все платья, засунула их в полиэтиленовый мешок и пошла, размахивая мешком, на помойку. Был солнечный весенний вечер, и мне было легко и хорошо. Да, мне самой удивительно, почему у меня было такое хорошее настроение. Может быть, не надо бы мне об этом распространяться, может, это стыдно и я чудовище. Я очень любила маму. Но вот она умерла, а я больше не могла горевать. Только через полгода или через год я начала по временам вспоминать ее и жалеть о ней. Я жалела не «нас, оставшихся без нее», а ее саму как личность, как живую душу; Белла Владимировна была редким, прекрасным человеком, отличным врачом, она на самом деле умела лечить, как говорят, возвращала к жизни даже тяжелые, запущенные случаи, когда таблетки уже не помогают, да и нет таких таблеток. Но в ту ночь, и еще долго после этого я не чувствовала никакого горя. Назовите меня как хотите после этого.

Так вот: я выкинула все ее платья, и парик тоже, а вот туфли оставила. Дело в том, что эти туфли были совсем новые, мама даже не успела в них походить. Она знала, что скоро умрет, но вот такой она была человек: за месяц до смерти купила себе новые весенние туфли и плащ, и, глядя в зеркало, сказала, что — жаль! И в самом деле было жаль, все это ей очень шло. После ее смерти я померила туфли, и, к сожалению, они мне не подошли. Тогда я решила сдать их обратно в магазин, просто чтобы не пропали. Срок еще не вышел, это можно было сделать, и я пришла, поставила туфли в коробочке перед продавцом и изложила ситуацию. А продавец, совсем молодой юноша, мне говорит: это еще доказать надо, что в них никто не ходил. Подметки стерты. Вы, наверное, их помыли и принесли. Я не могу их принять. А я ему: да месяца еще не прошло, человек их купил и умер, один раз только дома надела, померить чтобы! А он мне: если она так плохо себя чувствовала, значит, она уже знала, что умрет. И зачем было тогда покупать туфли? Вы, наверное, специально выдумали, чтобы получить деньги. А я (нудно и неуклонно, но вежливо): нет, вы мне обязаны поменять эти туфли. (И трясу, трясу туфлями перед его носом.) Месяца не прошло, а в них по улице никто не ходил. И так далее, и тому подобное.

Ну, я его дождала. Отдал мне деньги, туфли забрал. С проклятиями, мол, вот какие зануды приходят. Я деньги беру, а сама говорю, прямо при девушках-продавщицах: молодой человек, вы слишком са-

моутверждаетесь. Сразу заметно, что у вас очень маленький хуй.

* * *

Началось все с моего дня рождения. Я тогда как раз устроилась в рекламное агентство «Рефлекс», которое возглавлял человек по фамилии Марков. Когда я сказала, что сегодня мне исполняется двадцать шесть, Марков как-то необыкновенно воодушевился. Как-как? — переспросил он. — Тебе сегодня? Ровно двадцать шесть? Да, подтвердила я, сегодня, ровно. Так ты, получается... родилась в один день с моим старшим сыном, который умер десять лет назад! Ему было всего шестнадцать, он покончил с собой! И ты с ним в один день родилась — ну надо же! Марков очень удивлялся и чему-то радовался, а я тоже про себя удивлялась, чему он радуется. Я тогда только недавно начала работать на Маркова и потом имела много случаев убедиться, что Марков вообще охотно рассказывает про своего старшего сына. Этот сын, по имени Алеша, был от первого брака. Марков с ним почти не жил, но очень любил и постоянно вспоминал. Видимо, дело было в том, что Алеша умер. Младший сын Маркова, от второго брака, был вполне жив, обыкновенен и пытался работать в агентстве, давая Маркову постоянные поводы для недовольства.

Однажды мы сидели вечером с одним из наших задушевных клиентов, производителем лимонада.

Этот лимонад Марков пил уже второй год: помог вывести бренд на рынок, занять нишу, сделал дизайн, а я придумывала рекламную кампанию. И так получилось, что тем весенним вечером мы сидели втроем у Маркова в кабинете, и он сказал: а сегодня день смерти Алешки. Сегодня, двенадцать лет назад, он прыгнул с крыши.

Несчастливая любовь? — спросил лимонадный король осторожно. Да нет, пожал плечами Марков. Он просто был болен. Точный диагноз так и остался неясным... Болезнь, душевная болезнь, уверенно сказал Марков, глубоко затянувшись сигаретой, и винить тут некого. Началось с галлюцинаций, безобидных, ему все мерещились какие-то человечки, которые за руку ходят за ним, цепочкой. Так и не понять, что его мучило в этом, — видимо, там изнутри какой-то механизм. Мы с мамой долго себя винули, но это бессмысленно, конечно. Болезнь не выбирает, тут уж спусковым крючком могло послужить что угодно. Да. (Марков протер очки.)

* * *

И Марков рассказывал дальше. Он говорил про выпускной из девятого класса, на котором Лешки не было. Как добился разрешения у врачей, нанял катер, подплыл к самому больничному саду, к набережной, вывез Лешку и повез кататься. Был великолепный вечер, солнечный, шумный и ветренный, и город разворачивался перед ними, со сво-

ими набережными, дымами, алыми парусами, темно-зелеными садами, и ему ужасно хотелось, чтобы Лешка был счастлив, но он сидел, ссутулившись, на корме, и никакими силами было не вернуть ему способность радоваться и жить.

Лимонадный король заметил: вам, наверное, нелегко говорить об этом. Почему, возразил Марков; как раз говорить — легко. Именно в этом мое спасение с самого начала. Не знаю, может, я какой-то ненормальный, но мне нужно вспоминать, мне помогает — вспоминать и делиться. Мне так легче.

И Марков рассказал: когда Лешка погиб, я подумал о том, что как-то несправедливо по отношению к приглашенным — заставляя их также испытывать горе. Хватит и того, что досталось им самим. И я решил: любым способом избежать гнетущей атмосферы, тем более ей было всего семнадцать. Что такое поминки, что означает это слово? Это воспоминания. Вот я и сделал презентацию Лешкиных фотографий разных лет, документов, связанных с ним, — аудио- и видеозаписей (их было немного), ее стихов. Связал это с разными событиями его жизни. И, когда все собрались, показал эту презентацию. Люди стали оживать. Они действительно начали вспоминать. Начались реплики: мол, нет, это было не так, а вот тогда-то он покрасил волосы, тогда-то он к нам пришел, а помнишь, что сказал тот-то. А как мы были на море? И действительно, вместо гнетущей атмосферы... Горе осталось, но оно (Марков сделал

длинную паузу, и не для того, чтобы подобрать слова) уже не было таким... оно стало другое... мне хотелось быть вместе с теми, кто остался; с теми, кто тоже знал его.

С вами многие не согласятся, сказал лимонадный король задумчиво. Но вы правы. Марков продолжал: у меня даже явилась мысль создать целое виртуальное кладбище, на которое можно было бы приходить и как-нибудь общаться с покойным. Например, выпивать «с ним вместе» (чокаясь с видеозаписью на экране) рюмку любимого напитка; или играть с ним вместе партию в какую-нибудь игру; или целоваться, или получать от него поздравления в день рождения — вот как сейчас; я ужасно хотел бы получить сегодня от Лешки какой-нибудь подарок или письмо, составленное компьютером на основе стилистического анализа Лешкиных стихов и школьных сочинений, меня ничуть не коробит искусственность подобной технологии, я цепляюсь за любую возможность, продолжал Марков, увлекаясь.

* * *

Я в ту же секунду поняла, что он мечет бисер. Лимонадный король смотрел уже не участливо, а настороженно. Идее виртуального кладбища он явно не сочувствовал. Бедняга только притворяется, что в здравом уме, а на самом деле бредит, — вот что читалось в глазах лимонадного короля. Но Марков не замечал. Он сидел в облаке дыма

и спокойно развивал свою мысль далее: именно поэтому я не стал сажать на его могиле живое дерево, оно ведь не будет иметь с ним ничего общего, — оно вырастет, станет большим, будет шелестеть своими блюдами высоко над головой. И он писал в стихах, мой Лешка, что деревья пугают его, что они как маленькие взрывы, которые длятся сотни лет. Поэтому вместо живого дерева я заказал на его могилу деревце из алюминия с маленькими плоскими белыми листочками...

Тут я не выдержала и встряла. Я сказала, что лично мне эта идея — с виртуальным кладбищем — кажется очень живой и даже продаваемой. Я вижу рынок для этой идеи, вижу потенциального потребителя. Их немного, но они есть. Можно было бы даже заранее создавать свой будущий «маленький музей», специально отбирать картинки и записи. Все равно ведь мы постоянно думаем о смерти, так почему бы не думать вместо нее о бессмертии, пусть хоть маленьком, для своих? Марков воодушевленно покивал. Лимонадный король почувствовал себя окончательно не в своей бутылке. Ему надо было что-то сказать, и он что-то сказал, уж сказал так сказал: скажите, а у вашего сына были, например, друзья, подруги или девочки какие-нибудь? (В сущности, он имел в виду только девочек, но замаскировал их «друзьями и подругами».) На что Марков поведал неожиданное: у него был взрослый друг. Относился к нему как к сыну. Можно сказать, его второй отец. Он сформировал

его вкусы. Фильмы ему показывал хорошие. Музыка давал слушать. А потом, когда Алешка погиб, он тоже умер, от болезни. Не сразу. Сначала проработал у нас полгода. Я дал ему работу. Сказал об этом партнеру и был поражен его реакцией. Он мне сказал, что это негуманно. Брать на работу умирающего негуманно. Негуманно. Мол, он умрет, а все в агентстве к нему привяжутся. Меня поразила эта перевернутая логика, сказал Марков. Кому может повредить опыт, что люди, которые работают с нами рядом, уходят из жизни. Кого этот опыт может сделать хуже. С этим лимонадный король был целиком и полностью согласен, в чем и признался с облегчением.

Я спросила: скажите, а стихи сына у вас сохранились? Марков сказал: да, не все, конечно. Он встал, пошарил на полке, вытащил пару маленьких блокнотиков и протянул лимонадному королю и мне. Таких блокнотиков, сказал он, у Лешки был полный ящик. Он много-много писал. В неделю такой блокнот исписывал.

И как только я взяла в руки этот блокнотик, и открыла его, и увидела почерк, то я поняла, что сын Маркова — это мой одноклассник Лешка Аминов. Это у него были такие блокнотики. Это он вечно сидел с ними и что-то в них кропал. Это с ним я сидела на первой парте целых полгода, а потом пересела от него на последнюю, потому что рядом с ним мне почему-то становилось нехорошо. И да, мы родились с ним в один день.

* * *

Лешка был необычный. Его дразнили психом, но кого в школе не дразнили как-нибудь? А Лешка — его сам черт велел дразнить, он был необычный, странный, очень искренний и наивный, с одной стороны, вроде, умный, а с другой — дурачок. Ему было уже четырнадцать, а он взахлеб врал (сочинял) разные вещи: что его в детстве украли в цирк, потому что он обладал невероятными способностями, и его распиливали пополам, бросали под купол и снова ловили, но в четыре года милиция опознала его и украла обратно прямо с арены. Ну и много чего еще этот Лешка врал. А кроме того, он в своих сочинениях писал про Правду, Добро и Красоту (все с больших букв). Ко мне Лешка Аминов относился особенно хорошо; если можно сказать, что он с кем-нибудь дружил в классе — то со мной. Но про болезнь я ничего не знала. Да, Лешка иногда не ходил в школу по несколько месяцев, и руки и лицо у него были в каких-то красных пятнах (может, аллергия на лечение?), и потом, под конец, я почти перестала с ним общаться, потому что он постоянно на все раздражался и говорил невпопад. Мне тогда казалось, что он назло так выпендривается. Конечно, думала я, если человека без конца дразнить, то он в конце концов станет злобный и перестанет верить в Добро, Правду и Красоту. Но хоть я его и не дразнила, мне тоже в конце концов расхотелось с ним сидеть. Честное слово, то, что он был непопулярен и надо мной в результате тоже смеялись, — это

было совсем ни при чем. Насмешек я никогда не боялась. Но мне на самом деле становилось рядом с ним не по себе. Нехорошо становилось, слишком тепло, как будто жар от него шел. И еще чудился слабый, тонкий, но отчетливый запах чего-то металлического. Запах был не подростковый и вообще не человеческий, но мне от него сразу начинало не хватать воздуха. И я пересела от Лешки. И домой с ним ездить перестала, хотя нам было по пути — на триста шестой, ему до Нарвской, а мне до Мариинки. Стала ездить по Садовой, только чтобы не с ним рядом. И перестала интересоваться, что за стихи он кропает в свои блокнотики, и мы созванивались все реже и реже, а когда Лешка заболел, я только два раза позвонила его маме, и, когда та сказала, что Леша идет на поправку (без подробностей), успокоилась и забыла о нем.

А стихи у него были дурацкие, хотя я ему ни разу об этом не сказала. Честное слово, ни разу.

Скажите, спросил лимонадный король, с интересом листая блокнот, а вы не хотели бы издать эти стихи? Они ведь местами поразительные. Да-да-да, подхватила я, и у вас действительно много таких блокнотов? Много, подтвердил Марков, да только кто будет этим заниматься. Я могу заняться, вызвалась я. Я очень быстро набираю текст, и мне не трудно. Можно было бы сделать книжку, экземпляров пятьдесят или сто, подтвердил лимонадный король, и продать, а деньги вон — нашему знакомому фонду, который предотвращает такие вещи. Ну,

слушайте, загорелся Марков, если вы готовы этим заниматься... Он встал, вытащил со стеллажа все книжки по рекламе и маркетингу и выгреб из-за них кучу блокнотиков, потом порылся у себя в ящичке и выгреб еще столько же, сложил их все в полиэтиленовый мешок и вручил мне.

* * *

И вот что мне приснилось в ту ночь. Огромная комната, по углам черно, а из окна — яркий свет и ветер, но свет не освещает всей комнаты (или, вернее, зала), а нарезает пространство на полосы мрака и света. Я сижу за столиком в полосе света, а напротив, в почти полной тьме, силуэт Алеши. Мы шутим, пьем кофе, но его почти не видно, как в передачах, когда хотят скрыть лицо. И с ней, там, на темной стороне, какая-то девушка, тоже умершая, и Алеша знакомит нас. Мы пьем кофе, шутим, и порой я пытаюсь наклониться и разглядеть их, но сильная тяжесть мешает ему, наваливается на грудь и глаза; иногда Алеша или та девушка, кто-нибудь из них, протягивают руку, чтобы стряхнуть пепел, и рука на солнечной стороне видна и страшна. Или девушка вдруг слегка склоняется вперед, но лицо снова ускользает — только кончики волос, мочка уха; я силюсь увидеть ее, но тяжесть нарастает, слепит глаза. И Алеша говорит: я не сразу умер, когда упал, я некоторое время еще лежал и все видел вокруг. И знаете, это было так прекрасно. Все, кто умирает на Пасху, на Святой неделе, воскресают здесь.

Я отпиваю кофе и чувствую привкус железа, тошноту, и еще — что меня припекает солнцем из окна, очень сильно, нестерпимо припекает, бок нагревается от солнца; меня жжет. Я спрашиваю: можно я пересяду к вам в тень, у вас есть еще место? я не могу больше сидеть с этой стороны, я сейчас сгорю! — и я понимаю, что значит пересесть в тень, но знаю и то, что это лучше, много лучше, чем сгорать так, как я сгораю.

Я просыпаюсь от нестерпимой тяжести и жара. Вокруг крошечная темнота, я не понимаю, где я, жива ли я.

Я включила свет, взяла блокнотик и стала читать Лешины стихи. Они уже не казались мне такими плохими, как десять лет назад. Среди них было довольно много стихов о любви, и я подумала, что совсем ничего не знала о своих одноклассниках. Что там была за любовь? Откуда? Или Алеша ее полностью выдумал? Подробностей в стихах не было, только слова о любви, и чем дальше я читала, тем сильнее мне казалось, тем настойчивей крутилось в голове, что эти слова могли быть адресованы и мне.

*Пока не высохнут моря, не утечет скала
и дней пески не убегут, клянусь любить тебя*.*

Жар проходит, остается крошечный мрак вокруг и невыносимая тяжесть, от которой ломит грудь.

* Стихи принадлежат Ксении Ушан.

Ксения Букша. ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ

Я бросила его, оставила одного. Я побоялась, что заражусь от него этим. Я его не любила, а он умер. Я оставила его одного умирать. И если можно что-нибудь исправить, я прошу об этой возможности, я сделаю для этого все. Мы возьмемся за руки, мы уйдем в тень, но уйдем вместе, цепочкой, вереницей человечков, зачерненные, сгоревшие, как головки спичек, как то, что остается от сидящего против света, когда закрываешь глаза.

Литературно-художественное издание

Букша Ксения Сергеевна
ОТКРЫВАЕТСЯ ВНУТРЬ

Рассказы

18+

Содержит нецензурную брань

Главный редактор *Елена Шубина*
Художник *Виктория Лебедева*
Ведущий редактор *Анна Колесникова*
Младший редактор *Вероника Дмитриева*
Корректор *Надежда Власенко*
Компьютерная верстка *Елены Илюшиной*



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Подписано в печать 26.03.2018. Формат 84x108/32.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,12.

Тираж 2500 экз. Заказ № .

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»

129085 г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, строение 1, комната 39

Наш электронный адрес: www.ast.ru

E-mail: astpub@aha.ru

«Баспа Аста» деген ООО

129085 г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 1 құрылым, 39 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E - mail: astpub@aha.ru

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107;

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Охраняется законом РФ об авторском праве.

Воспроизведение всей книги или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя. Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Ксения Букша

РАМКА

Роман



В стране праздник — коронация царя. На Островки съехались тысячи людей, из них десять не смогли пройти через рамку. Не знакомые друг с другом, они оказываются запертыми на сутки в келье Островецкого кремля «до выяснения обстоятельств». И вот тут, в замкнутом пространстве, проявляются не только их характеры, но и лицо страны, в которой мы живем уже сейчас.

Роман «Рамка» — вызывающая социально-политическая сатира, настолько смелая и откровенная, что ее невозможно не заметить. Она сама как будто звенит, проходя сквозь рамку читательского внимания. Не нормальная и не удобная, но смешная до горьких слез — проза о том, что уже стало нормой.

«Новый роман Ксении Букши, как всегда, не похож на предыдущие. Как всегда, ослепительно яркое, свежее и тревожащее. Как всегда, полон чёрного юмора, жестокости и того особого изящества, которое есть только в петербургской прозе. А что подобные мысли и чувства сейчас владеют многими, так писатель на то и писатель: мы ещё и себе не признались, а он уже вслух сказал, да как звонко».

Дмитрий Быков

Ольга Брейнингер
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ НЕ БЫЛО АДДЕРОЛА
Роман



Ольга Брейнингер (род. в 1987). Окончила Литературный институт им. А.М. Горького и магистратуру Оксфордского университета; живет в Бостоне (США) и преподает в Гарвардском университете.

Героиня романа «В Советском Союзе не было аддерола» — молодая женщина родом из СССР, докторант Гарварда, — участвует в «эксперименте века» по программированию личности. Этническая немка, вырванная в 1990-е годы из родного Казахстана, — она вихрем пронеслась через Европу, Америку и Чечню в поисках дома, добилась карьерного успеха, но потеряла свою идентичность.

Завтра она будет представлена миру как «сверхчеловек», а сегодня вспоминает свое прошлое и думает о таких же, как она, — сломанных глобализацией и бесконечно одиноких молодых людях, для которых нет границ возможного и которым нечего терять.

Роман вошел в лонг-листы премий «Национальный бестселлер» и «Большая книга».